

Осенние истории

РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Осенние истории. Рассказы русских писателей

Нина Ивановна Петровская, Александр Митрофанович Фёдоров, Надежда Александровна Лухманова, Пётр Андреевич Павленко, Осип Дымов, Юрий Львович Слёзкин, Иван Алексеевич Бунин, Виктор Петрович Астафьев, Александр Иванович Куприн, Борис Константинович Зайцев, Максим Горький, Виктор Викторович Гофман, Пантелеймон Сергеевич Романов

Аннотация
Осенние истории. Рассказы русских писателей. Составление Натальи Артёмовой и Анны Жирковой
Александр Куприн. (1870–1938)
  Пустые дачи
  Осенние цветы
Александр Федоров. (1868–1949)
  Осенняя поэма

Михаил Чехов. (1865–1936)
Осень
Нина Петровская. (1884–1928)
Осень
Сны октябрьских ночей
Осип Дымов. (1878–1959)
Плод осени
Петр Павленко. (1899–1951)
Осенняя заря
Надежда Лухманова. (1844–1907)
Один
Пантелеймон Романов. (1884–1838)
Осень
Юрий Слезкин. (1885–1947)
Астры
Виктор Гофман. (1884–1911)
Желтые листья
Борис Зайцев. (1881–1972). Из книги «Путники»
Осенний свет
Иван Бунин. (1870–1953)
Антоновские яблоки
Эпитафия
Последнее свидание
Максим Горький. (1868–1936)
Однажды осенью
Виктор Астафьев. (1924–2001)

Осенью на вырубке

Аннотация

«Унылая пора! Очей очарованье!» – эти строки Александра Пушкина стали воплощением осени, которая вдохновляла многих русских писателей.

Багряно-желтыми опушками леса и кострами рябин. Кленовыми аллеями, ароматами опавшей листвы и антоновских яблок. Гудением самовара, доносящимся из деревенской избы. Букетами астр и георгин. Грибниками и охотниками на лесных тропах. Дождем и туманом, улицами, утопающими во мгле. Тоской о былой любви…

В сборник вошли рассказы А. Куприна, И. Бунина, Н. Лухмановой, Б. Зайцева и других мастеров русской прозы.

Осенние истории
Рассказы русских писателей
Составление Натальи Артёмовой и Анны Жирковой

В оформлении использована картина «Осень в провинции», 1926 год.

Художник Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) / Архив РИА Новости

© Артёмова Н. Ю., составление, 2025
© Астафьев В. П., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *



Александр Куприн
(1870–1938)

Пустые дачи

О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью.

Было в ней что-то напряженное, и страстное, и нежное, и больное, как в последней ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья — все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии… Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре?

Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина, — тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех.

Кто-то произнес мечтательно и грустно:

— Это последняя ночь лета. Последняя ночь…

Помню: я тогда поглядел направо, на юг. Там — от земли до полнеба — сгрудились тяжкие сонные тучи и в них бегали зарницы. А под ними простирались кроткие усталые поля и черные

холмы, и редкие деревья стояли, как черные печальные призраки.

И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой, невидимый, всезнающий, жестокий и веселый, — лежит молча, на животе и на локтях, лежит, подперев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, с злобной радостью улыбается он чему-то **идущему** и молчит, и молчит, и лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми молниями…

Потом сразу стало холодно. Поднялся ветер с востока. Мы ушли…

А под утро с моря, из-за той вон далекой прямой черты, оттуда, снизу, вырвалась буря — вся черная, в белой косматой пене. В страхе шарахнулись волны на берег, в ужасе заметались деревья, простирая в одну сторону дрожащие бессильные руки, и наш дом до утра трясся под напорами ветра.

Что делалось тогда на море! Там грохотали тысячи нагруженных телег, шумел лес, взрывались скалы, кто-то в ярости рвал пополам исполинские куски шелка… А когда мы проснулись, была осень.

Так началась осень…

И вот я еду сегодня на велосипеде по узкой

извилистой дорожке парка. Хрустит и взвизгивает гравий под колесами. Левая сторона лица моего обращена к солнцу, и ей тепло, а правой холодно.

По бокам дорожки — плотные, мелкие кусты. Сквозь них теперь сквозит небо и кажется таким густым, таким невероятно синим. Все стало просторно, голо, неряшливо и неуютно, точно знакомая комната, из которой вынесли мебель. Шелестят серебряным звуком коричневые, скоробившиеся листья…

Гимназистом я однажды через две недели после летних каникул вернулся на дачу, где провел три месяца. Было все пустынно, тихо, глухо и грустно. О, как хорошо помню я эту задумчивую грусть, эту сладкую медленную тоску, от которой, как от вина, сжималось сердце и кружилась голова. «Все, что прошло, — думал я, — все осталось в моей памяти, оно — мое, во мне, я могу его вызвать силой воображения. Но ничто, ничто не вернется больше! Ни одна черта!»

Так я думал тогда, но теперь моя душа не воспринимает уже более этой поэтической, нежной печали: в ней бессильно и горько шевелится только грусть по прежней грусти. Плачет беззлобная, смирившаяся зависть…

Оставленные пустые дачи. Окна криво забиты снаружи досками. Кругом сор — тот сор, который всегда остается от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический осенний запах… Здравствуй, осень моей жизни!

Вечером к нам на балкон приходят чужие, брошенные голодные собаки. Они тихо, без волнения жмутся к ногам и робко заглядывают в глаза просящими, испуганными глазами. Они останутся здесь на зиму. Мне страшно думать о тех лютых ночах, когда они будут дрожать от холода и ужаса, в снегу, под занесенными балконами… Море ревет в эти ночи, и деревья стонут от ветра, и кругом не горит ни одного огня… Бедные, ласковые друзья, что вы будете чувствовать, кому вы будете жаловаться в эти ночи?

По праздникам к нам уже не наезжают нарядные парочки, которые ходят, обнявшись и колеблясь от любви и оттого, что не смотрят на дорогу, а на небо или в глаза друг другу. Зато приезжают мрачные люди, с галстуками на боку, с растерянным взглядом, и ходят в одиночку по глухим местам у моря и в парке.

Гравий шуршит под гуттаперчей колес. Вот

место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щеку. Вот еще одно место. Здесь я встретил одну девушку. Она была мне незнакома, и я потом не встречал ее больше. Из глаз ее лился снопами голубой свет, в котором было все: радость жизни, восторг молодости, сияющее счастье первой любви. Помню, я улыбнулся, и она ответила мне — она улыбнулась так лучезарно, так эгоистично-виновато, так прекрасно-легкомысленно. Она прошла дальше. Я оглянулся. Она не шла, а точно танцевала, не касаясь ногами земли, как мотылек, опьяненный светом. И мне захотелось упасть на землю и целовать те места, на которые ступали ее белые туфли. Почему? Я не знал этого…

А вот старая гнилая скамейка. На ней вырезаны чьи-то имена и девизы. О, милая!

Здравствуй, моя осень. В моем сердце не осталось даже грусти. Но я благословляю и ветку, и девушку, и море, и холодное небо, и печальные последние георгины…

1904

Осенние цветы

Мой милый, сердитый друг! Я потому пишу — сердитый, что заранее воображаю себе: сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узна́ете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено, в моей гостинице. Дорогой мой, я просто-напросто бежала от вас, или нет, вернее — от нас обоих, бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами.

И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии: ведь вам больше всех на свете известно, как оно покидает меня в самых нужных случаях! Бог свидетель, до последней минуты я не знала, поеду ли я на самом деле или не поеду. Вот и теперь я совсем не уверена в том, что до конца устою против нестерпимого соблазна еще один раз, хоть мельком, хоть издали взглянуть на вас.

Я даже не знаю, удержусь ли я от того, чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка, и потому, окончив это письмо (если только мне

удастся его окончить), я отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. А я буду из окна следить за ним и чувствовать, точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце.

Простите меня: все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы уславших меня сюда из Петербурга, все это было неправдой! Я приехала только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари.

Я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, который называется петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и т. д. и т. д., и во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости, — я уж не помню, как это говорится в

романах, — нашего общества. Я втянулась в эту жизнь, полную комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся предо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама я что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется, что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно «понарочку», как выражалась когда-то моя нянька — Домнушка.

И вдруг среди этой тусклой и равнодушной жизни меня, точно волной, взмыло наше милое, сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении, и в то же время так бедны содержанием, что если их рассказать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, — выйдет ничтожно и плоско до смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцио, и — боже мой, какая в этом глубокая психологическая правда!

Ну, так вот и я однажды проснулась утром

после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами где-то далеко-далеко в море. Вы сидели на веслах, а я лежала на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я гляжу вниз в бездонную пропасть. И какое-то непостижимое, радостное чувство так нежно, так гармонично овладело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей душе, точно прирос к ней. Небольшим усилием воображения мне часто удавалось вызывать его в памяти и вместе с этим вновь испытать слабую тень той радости, которая его сопровождала.

Иногда это случалось в гостиной, во время какого-нибудь пустого разговора, который слушаешь не слыша, и тогда я должна была закрывать на несколько мгновений руками глаза, чтобы не выдать их неожиданного сияния. О, как сильно, как неотступно повлекло меня к вам. Точно живая, воскресла предо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Все мне вдруг вспомнилось: внезапные ссоры, с нелепой ревностью и смешными подозрениями,

и веселые примирения, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя; нетерпеливые ожидания в условленном месте; чувство тоскливой пустоты в те минуты, когда мы, расставшись вечером, чтобы сойтись опять на другой день утром, по многу раз оборачивались одновременно назад и издали, из-за плеч разделявшей нас толпы, розовой от пыльного солнечного заката, встречались глазами; вспоминалась мне вся эта сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья!

Мы не могли усидеть на месте. Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных, душных дилижансах, завешанных грязной парусиной, в обществе хмурых немцев, с жилистыми красными шеями, с лицами, точно вырезанными грубо из куска дерева, и чинных тощих немок, которые делали широкие, изумленные глаза, прислушиваясь к нашему сумасшедшему хохоту. А эти случайные завтраки у какого-нибудь «доброго, старого, честного колониста», под тенью цветущей акации, в глубине маленького, чистенького дворика, обнесенного белой низкой стеной и усыпанного морским песком? С каким невероятным аппетитом набра-

сывались мы на жареную скумбрию и на местное мутное и кислое вино, не переставая делать тысячи нежных и смешных глупостей, вроде того исторического дерзкого поцелуя, который заставил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые июльские ночи на тонях?.. Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярок, что казался преувеличенным, неправдоподобным; это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара, а на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону?

Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое, оно живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него… Понимаете ли, — никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-на-

стоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, — я уж не знаю, кто, — дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего.

Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тотчас же поспешили ко мне. Вы торопились и были взволнованы: это я узнала издали по вашим скорым, нервным шагам и по тому еще, что, прежде чем постучаться, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там, за дверью, всего в двух шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание… И почему-то в то же время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывала настроение, похожее на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе: это неправда, это — сон.

Вы изменились за это время, возмужали и как будто бы выросли; черный сюртук идет к вам го-

раздо больше, чем студенческий мундир, манеры у вас стали сдержанней, глаза смотрят уверенней и холодней, модная остроконечная бородка положительно красит вас. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я охотно верю, что вы сказали это искренно, тем более что я прочла это в вашем первом, беглом и несколько удивленном взгляде. Ведь каждая женщина, если она не безнадежно глупа, никогда не ошибется насчет того впечатления, которое произвела ее наружность…

Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидя в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловкой для нас обоих. Мы обменивались незначительными, обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой, незнакомой жизнью… Разговор у нас не вязался. Начав его на «вы», в искусственно-оживленном тоне, мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом

удалить его.

Весенний вечер тихо угасал. В комнате сделалось темно. Я хотела позвонить, чтоб приказать принести лампу, но вы попросили меня не зажигать огня. Может быть, темнота способствовала тому, что мы решились, наконец, коснуться нашего прошлого. Мы заговорили о нем с той добродушной и снисходительной насмешкой, с какой взрослые говорят о своих детских шалостях, но, странно, чем больше мы старались притворяться друг перед другом и сами перед собой — веселыми и небрежными, — тем печальнее становились наши слова… Наконец мы и совсем замолчали и долго сидели — я в углу дивана, вы — на кресле, — не шевелясь, почти не дыша. В открытое окно к нам плыл смутный гул большого города, слышался стук колес, хриплые вскрикивания трамвайных рожков, отрывистые звонки велосипедистов, и, как это всегда бывает весенними вечерами, эти звуки доносились до нас смягченными, нежными и грустно-тревожными. Из окна была видна узкая полоса неба — цвета бледной вылинявшей бронзы, — и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигу-

ры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы.

Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые, трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, которого мы оба любили когда-то одинаково горячо. Тихое кладбище… весна… везде молодая травка… сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник — наша старая любовь, дорогой мой!

Вы вдруг прервали молчание, вскочив с кресла и резко его отодвинув.

— Нет, так нельзя! Мы совсем измучим себя! — воскликнули вы, и я слышала, как тоскливо задрожал ваш голос. — Ради бога, пойдемте на воздух, потому что иначе я расплачусь или сойду с ума!..

Мы вышли. В воздухе была уже разлита полупрозрачная, мягкая, смуглая тьма весеннего вечера, и в ней необыкновенно легко, тонко и четко рисовались углы зданий, ветки деревьев и контуры человеческих фигур. Когда мы прошли бульвар и вы подозвали коляску, я уже знала,

куда вы хотите меня повезти.

Там все по-прежнему. Огромная площадка, плотно утрамбованная и усыпанная крупным желтым песком, яркий голубой свет висячих электрических фонарей, резвые, бодрящие звуки военного оркестра, длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами, стук ножей, неразборчивый и монотонный говор толпы, торопливо снующие лакеи, — все та же подмывающая обстановка дорогого ресторана... Боже мой! Как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянны, непоколебимы окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Знаете ли, попадались мне иногда дурные квартиры, даже не просто дурные, а отвратительные, невозможные и притом связанные с целой кучей неприятных событий, огорчений, болезней. Переменишь такую квартиру, и прямо кажется, что в царство небесное попал. Но стоит через неделю-другую проехать случайно мимо этого дома и взглянуть на пустые окна с приклеенными белыми билетиками, и — душа сожмется от какого-то мучительного, томного сожаления. Правда, было здесь гадко, было тяжело, но все-таки здесь как

будто бы осталась навеки целая полоса твоей жизни, — невозвратимая полоса!

Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы: темно-карминную и чайную? Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты и теперь хочешь сделать то же самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый!

Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море; сверху оно казалось таким черным и жутким! Недалеко от берега торчат из воды большие, черные, угловатые камни. На них то и дело набегали волны и, разбившись, покрывали их буграми белой пены; когда же волны уходили назад, то отшлифованные прибоем мокрые бока камней блестели, как лакированные, отражая свет электрических фонарей. Иногда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким, здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что

от него сама собой расширялась грудь и вздрагивали ноздри…

А нас все сильнее, все тягостнее сковывало что-то нехорошее, скучное, принужденное… Когда принесли шампанское, ты, наливая мой бокал, сказал с мрачной шутливостью:

— Попробуем хоть искусственно приподнять себя. Выпьем этого храброго, доброго вина, как говорят пылкие французы.

Нет, нам все равно не помогло бы и храброе, доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавил с длинным вздохом:

— А помните, как мы с вами бывали от утра до вечера пьяны без вина, одной нашей любовью и радостью существования?

Внизу, в море, около камней показалась лодка. Большой, белый, стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и подымаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должно быть, иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальдтейфелевского вальса.

Ты тоже следил глазами за парусом и, не отрываясь от него, произнес мечтательно:

— Хорошо было бы теперь сесть в такую шлюпку и уехать далеко-далеко в море, так, чтоб берега

не было видно… Помните, как в прежнее время?

— Да, умерло наше прежнее время…

Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь… Через минуту ты заговорил глухим, точно сразу охрипшим голосом:

— Как странно сошлись наши мысли! Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей шесть лет тому назад так безумно любили друг друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете. Они умерли… умерли…

Мы поехали обратно в город… Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные виллами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решетки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улицу густая зелень платанов; огромные, все в резьбе, точно в кружевах, ворота; сады, увешанные гирляндами разноцветных фонарей; ярко освещенные роскошные веранды; экзотические

растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий, приторный, конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд сыроватым холодком, но тотчас же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи.

Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно. Ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожала ее, твоя рука ответила мне дружеским, извиняющимся пожатием…

Но я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие. И я не ошиблась. Перед тем как расстаться, у подъезда гостиницы, ты попросил позволения навещать меня. Я назначила день, и вот… прости меня… я тайком убежала от тебя. Дорогой мой! Если не завтра, то через два дня, через неделю в нас вспыхнула бы

просто-напросто чувственность, против которой бессильны и честь, и воля, и рассудок. Мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и — что всего ужаснее — постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым.

Прощайте. Сгоряча я и не заметила, как перешла в письме на «ты». Я уверена, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорбленного самолюбия, вы согласитесь со мною и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд.

Сейчас в дверь вошел швейцар и прозвонил первый звонок. Но теперь я уже уверена, что устою от искушения и не выскочу из вагона…

И все-таки наша короткая встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина: «Цветы осенние милей роскошных первенцев полей… Так иногда разлуки час живее самого свиданья…»?

Да, мой дорогой, именно осенние цветы! Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дождливое утро, выйти в сад? Деревья — почти голые, сквозят и качаются, на дорожках гниют опавшие листья, везде смерть и запустение. И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах, и тоскуешь. Все есть в этой тоске: и сожаление о быстро промелькнувшем лете, и ожидание холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по своему собственному, так быстро пронесшемуся лету… Милый мой, дорогой, единственный! Совершенно такое же чувство владеет теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас в ваши умные красивые глаза.

Ваша З.
1901

Александр Федоров
(1868–1949)

Осенняя поэма

I

Было время созревания винограда, и я ее ждал.

Стояли те удивительные дни на нашем южном приморье, от которых оживают старики и хорошеют некрасивые. Солнце, утратившее свою жгучесть и остроту, высасывавшие из земли соки, успокаивается. Все в природе начинает наливаться той полнотой и румянцем жизни, который сообщает зрелому телу освеженная кровь.

Краски становятся до того прозрачны и глубоки, что взгляд здоровеет и яснеет от их ясности и чистоты. Яркие зори. Сильные росы. Новые, крупные, мало ароматные цветы на куртинах, светящиеся на закате, как бокалы с пурпурным вином… И самый воздух легок и крепок, как вино… Во всем этом есть глубокое очарование еще не высказанного откровения, — и мне сладко было ждать ее в моем одиночестве и думать о ней.

В то время как глаз замечал желтые и рубиновые листья на деревьях, ржавчину от рос на сжатых полях, ласточек, как четки черневших на телеграфных проволоках, — все первоначаль-

ные признаки и намеки осени, я все же ждал ее, как чуда, о котором не мечтается даже весною. Губы сами собой печально шепчут: осень… осень идет… А сердце ширится и поет от этого неизбывного ожидания, которому нет ни названия, ни предела.

Виноград зреет. Солнечные лучи наливают его янтарную сердцевину и растворяются в его соку. Виноградные кисти упруго и тяжело висят на своих коротких кустах в радостной обнаженности. Я все чаще повторяю ее имя.

А море густо синеет и как будто пустеет, как поля; по ночам лунный свет в слезах блуждает здесь и там, подобно видению, оплакивающему несуществующую возлюбленную.

Вот я проснулся, открыл ставень, и сильное молодое утро говорит мне: «Здравствуй».

— Здравствуй.

Я чувствую легкость и радость тела, незнакомую ни в какое другое время года.

Сизоватая маслина под моим окном вся облита ровным солнечным светом; в ее тонах есть что-то голубиное, и она рада жизни, как и я.

— Здравствуй. Здравствуй. — Мне хочется сказать это слово бесконечно близкому, чтобы меня поняли сразу и от радости засмеялись в ответ.

Нет, ее еще нет. Но она скоро будет; она должна быть, иначе все это ни к чему.

Птицы уже не свистят так беспокойно и сильно, как раньше; они повывели детенышей и научили их летать, но воздух так звонок и ясен, что их спокойные звуки как будто окрашены в свои нежные цвета, родные друг другу. Только стук, доносящийся с гумна, идет как-то особняком.

Ого, уже начали молотить без меня. Мне, как хозяину, немного совестно, что проспал. Я прислушиваюсь. Хорошо. Это один из тонов осенней трудовой музыки жизни. Освящается новый день. Почти языческое удовлетворение, недоступное горожанину, всегда внушает он мне и осмысливает в моем представлении существование.

Я почти бегом спускаюсь по тропинке к морю. На заре здесь прогнали коров вниз, где тянутся покрытые травой холмы. Пахнет коровьим пометом. В свежее августовское утро он почему-то напоминает о близости зимы и воздухе теплых коровников.

Запах моря чуть-чуть остро и влажно щекочет обоняние. Море так сине, что рыбачий парус кажется белее снега. Я открываю рот, и небо обливает влажная солоноватая свежесть, ощутительно проливающаяся в грудь.

Вода стеклянисто-упруга и прозрачна у берега: точно она и есть и нет ее.

Я весь отдаюсь воде; она неподвижная, но живая; не хочется разбивать ее руками, и я еле шевелюсь, еле подвигаюсь вперед почти одними изгибами моего тела; переворачиваюсь на спину, вижу над собою высокое небо с облаками, и ощущение животной близости со стихией расширяется до слияния с ней. Мне что-то хочется крикнуть, одно какое-то слово, в котором будет все — ее имя. Но я сдерживаю себя: недостает чего-то совсем маленького, чего-то вроде смыкания двух электрических токов, которые почти соприкасаются… Ток от меня идет к ней далеко; ей достаточно сделать маленькое движение. Но я его не чувствую покуда.

Вот она нынче-завтра будет здесь, — тогда другое дело. Ее младшая сестра Аля бывает у меня часто и много говорит о старшей, подозрительно много. Она могла бы говорить меньше.

— Ого! Вы теперь наверно ее не узнаете. Она, конечно, стала не та, что была в прошлый год. Ее засыпают цветами, а в газетах так и пишут: любимица публики.

Она во все глаза глядит на меня, видимо, гордясь своей сестрой, в то же время губы ее еле

сдерживают смех, который то и дело вспыхивает и искрится в ее плутоватом, изящном лице.

Этой девочке девятнадцать лет, но она кажется шестнадцатилетней, и я отношусь к ней как к ребенку. Я не видел более болтливого и смешливого существа. Смех что-то неотделимое от нее, как игра в бриллианте.

Я как-то сказал, что не поверил бы ни в одну печальную историю, рассказанную ей.

Она всплеснула руками:

— Это ужасно! А между тем мне вовсе не так весело. Хотя бы вот сейчас.

Мне показалось на одно мгновение, что какая-то острая искорка сверкнула в ее чистых глазах, но в ту же минуту губы ее уже смеялись и, как жемчуга в розовой растворившейся раковине, сверкали влажные ровные зубы.

— Ага, верно, вы завидуете сестре!

Она неожиданно покраснела. Игра бриллианта в первый раз блеснула фальшиво.

— Завидую? Чему? — быстро спросила она.

— Да вот, что ее засыпают цветами и все такое…

Но бриллиант опять переливается чистейшей игрой.

— Я завидую?.. Цветами… и все такое. — Она

обрывает смех и искренно говорит: — Завидовать можно только тому, что доступно… А разве можно завидовать луне, что она светит и ей поклоняются.

— Положим… — с неприятным самому мне чувством говорю я. — Положим, театральные лавры, особенно провинциальные, очень дешевы у нас…

Она не на шутку оскорбляется за сестру:

— Ну, уж извините. Вы не любите театра, потому и говорите так. Ее не только публика, но и актеры считают выдающимся талантом в сценическом искусстве.

Когда Аля хочет говорить серьезно или о серьезных предметах, кажется, что она читает по книге. Долго, однако, она этого тона выдержать не может и опять смеется. Смеясь, переходит из оборонительного положения в наступательное и вышучивает мою ревность, не называя, однако, этого чувства прямо, вероятно, из детской стыдливости.

— Я все-таки не вижу причины, почему она должна перемениться, — говорю я, задетый за живое ее поддразниванием. — Ну, пускай успех, талант и все такое… Умный человек не станет от этого задирать нос.

Она опять ополчается за сестру.

— Задирать нос! — стараясь изменить свой голос до баса, каким будто бы говорю я, повторяет она с гримасой мои слова. — Как это похоже на Ольгу. Она не из таких, чтобы задирать нос. А просто стала серьезнее и ее уже не могут занимать те пустяки, которые занимали раньше.

И опять глаза ее смеются, в то время как губы с преувеличенной важностью выговаривают:

— Она всецело посвятила себя служению искусству и даже книги все читает такие… такие…

— Что вы не можете выговорить, — перебиваю я ее.

Она разражается звонким смехом и в то же время обвиняет меня, что я недостаточно серьезно отношусь к Ольге.

— Вы хотите обратить в шутку то, что свято для сестры.

— Я только сказал о вас… что вы не можете выговорить…

— Книги такие… Я хотела назвать, а вы перебили.

— Ну?

Она выпаливает с торжеством:

— «Религия красоты». Что? Съели! Вы, наверное, никогда не видели даже этой книги и не сумеете

с Олей поддержать разговор, когда она приедет.

Бриллианты снова переливаются светящейся игрой, и жемчуг зубов сверкает из-за пурпурной раковины рта.

II

О, только бы скорее приехала!

Я больше не могу заниматься как следует делом. Я почти обезумел от желания видеть ее, которое обступает меня все сильнее.

Могущество жизни вливается в меня с каждым глотком воздуха, с этими страстными голосами красок, которые дрожат в последних напряжениях, и я слышу безумные призывы к наслаждению, во всех ароматах, вздохах и в трениях волн о морской песок, на котором остаются следы их прикосновений, следы длительных их поцелуев… В солнечных лучах… В звездах…

Я не забуду, как в прошлом году старый дуб, недалеко от моего дома, своей золотисто-пурпурной листвой пылал на солнце, подобно громадному костру. Иногда он казался мне почти живым, точно легендарная жар-птица, распустившая свои красивейшие перья в исступлении своей любви. Это был пожар блаженства, от которого вся кровь его изнутри выступила наружу. Я ахнул,

взглянув на него на другой день утром: весь этот убор пластом лежал на земле, потускневший, как бы сожженный вчерашним таинством страсти, измятый бесконечными объятиями.

Во всех работах этой поры есть что-то чувственное, почти языческое. Даже в работах со святым хлебом. В воздухе разливается то возбуждение, которое разрешится скоро хмельными деревенскими свадьбами. Особенно это чувствуется на винограднике.

Вот он, весь покрытый матом росы, просыпается на заре. Ветер целует сочные кисти, легкие в своей упругости и полноте, как груди, поднятые желанием. Чувственные стихи царя-певца Соломона поют славу красоте винограда. С восхода до заката солнце пламенеет и тоскует в спелых янтарных каплях. Оттого вместе с веселым жаром в вине горит опьяняющим пламенем какая-то ненасытная тоска.

Я почти чую живую душу в виноградных кистях; сильную страстную душу, которая радуется жизни и солнцу и продолжает жить и чувствовать даже по окончании этой жизни. Вы только подумайте: когда начинает созревать виноград, вино бродит в бочках, — мертвые посылают привет живым из своих деревянных гробов. Это

ли не чудо!

Один вид винограда опьяняет меня, и я, не помня себя, все представляю здесь ее, ее, и шепчу смешные, неожиданные слова…

— О, ты… Ты моя нежная… виноградная.

На винограднике начались работы. Девки-работницы выбирают и режут первые спелые кисти. Виноград опьяняет и их здоровые, грубые тела; и босые тяжелые ноги их, топчущие землю, становятся как будто легче, и голоса их, о чем бы они ни переговаривались, ни пели, все звучат одним призывом.

Вчера вечером…

Да простит меня небо — и она, но это не измена. Чтобы вино не разорвало мех, нужно на мгновение открыть его. Мое сердце — это мех, в котором бродит вино.

Я не нахожу места себе. Из виноградника я иду в степь, из степи на море. Иногда я беру с собой ружье и стреляю в воздух, вовсе не желая проливать чью бы то ни было кровь.

На берегу моря есть в одном месте два огромных камня; они стоят друг против друга почти у самого обрыва. В прошлом году, когда я красил около них свою лодку, была вместе со мною и она.

Когда я вывел на лодке красную полосу кинова-

рью, она молча взяла кисть и, не говоря ни слова, написала на одном из камней мое имя. Затем, как ни в чем не бывало, отошла от лодки и, не глядя на меня, стала бросать камешки в воду, ловко делая рикошеты на гладкой поверхности.

Я весь задрожал от радости: схватил кисть и на камне, стоящем рядом, вывел ее имя.

И имена, написанные на камнях яркой киноварью, запылали на солнце.

Это было как бы торжественное обручение, наивный символ, который являлся прекрасным таинством здесь, на пустынном берегу, у самых чистых волн стихии, в изначальном храме Господа Бога.

Мы, кроме этого, ничего не сказали больше друг другу о своей любви. Но если бы я тогда обратился к ней: «Будь моею», она бы ответила радостным криком. Я видел, я чувствовал это… Но я не решался, не решился.

Вино перебродить должно, чтобы его можно было пить. Так объяснил я себе свою нерешительность, и ждал, и дождался: вино перебродило и окрепло.

Дожди и ветры и бешеные равноденственные бури, бросающие свои волны до самого обрыва, успели обесцветить краску и стереть кое-где бук-

вы. Это меня огорчало: буквы не должны были тускнеть, и я к ее приходу подновил краски, так что они опять горели на солнце, как тогда. Этого никто не видел. Но на другой день, когда я пошел посмотреть, подсохли ли краски, я заметил, что кто-то пытался выскоблить, стереть ее имя.

Я напрасно ломал голову, кому это могло понадобиться. Уж я бы сумел отплатить за эту злую выходку, если бы нашел виновного.

III

Аля не приходила целых два дня. Что бы это значило?

Я сам отправился к ним вечером. Красная черепичная крыша их хутора чуть-чуть светилась, хотя было уже почти темно, точно отдавала воздуху заревой свет, впитавшийся в нее после заката.

Мать и отец, наверное, по обыкновению играют у соседей в винт и ссорятся там из-за карт. Тем лучше, а то опять начнут вздыхать о дочери и просить меня поколебать ее страсть к сцене.

Дом темен весь, за исключением одного окна: комнатка Али. Значит, она дома.

Уж не больна ли?

Навстречу мне с лаем бросилась собака, — знакомый мне мопсик Бутон. Я окликнул его; он

виновато стал ласкаться, делая вид, что пошутил со мной, и только.

Но в ту же минуту свет в окне погас.

Я остановился.

— Аля!

Никто не ответил.

Я подошел ближе к окну. Тихо. Но другое, также открытое с боку окно, выходящее в садик, как-то подозрительно молчит.

Собака дома, значит, дома и она.

Я с досадой повернулся и ушел, ничего не понимая.

IV

На другое утро Аля объявилась.

На мой вопрос, почему ее так долго не видно, она ответила, смеясь:

— Разве вы заметили мое отсутствие? Ах да, впрочем, вот глупая. При чем тут я!.. Вам важно знать...

Я ее перебиваю:

— Отчего вы спрятались или выпрыгнули в окно вчера, когда услышали мой голос?

Она, очевидно, приготовилась к этому вопросу и разыграла недоумение:

— Я?.. Вот новость! Меня вечером не было до-

ма.

Однако в глазах ее я уловил беспокойство, которое тотчас же залилось смехом.

— Я принесла вам важное известие…

Но я опять умышленно остановил ее, стараясь показать, что это известие вовсе уж не так для меня важно.

— А знаете, Аля, вы загадочная натура. Отчего вы никогда не смотрите мне прямо в глаза?

— Вам в глаза… Я? Вот новости. Сколько угодно.

И с преувеличенным усердием вытаращила на меня свои глаза, но тотчас же, почувствовав, что лицо ее краснеет, опять залилась смехом, который скрывал от меня ее истинное выражение, как трепещущая и сверкающая вуаль.

— Она приезжает послезавтра. Это уж наверное… Приезжает не одна.

Меня точно толкнуло что-то.

— А? Не одна… С какой-нибудь подругой. Ну что ж…

— Нет, не с подругой, а с другом. Вот она так и пишет… «Со мной едет друг мой, известный артист Таланов-Сумский, который хочет отдохнуть перед зимним сезоном и полечиться виноградом».

Кровь уходила из моего сердца, и я слышал, как пустело оно и тяжестью наливалась голова. Я, как сквозь сон, слышал строки дальше, которые она читала, как урок:

— «Он так много сделал для меня, что было бы грешно не отплатить ему гостеприимством, тем более что он не только изумительный комик на сцене, но и в жизни»…

Я уже больше не слушал. Комик. Ну, слава богу. Вспомнил, что, будучи еще гимназистом, видел на сцене этого толстого человека, который и тогда был уже не молод.

Кровь опять мало-помалу вернулась на свое место, и Аля снова не могла сдержать смеха, когда я изобразил ей обычные приемы этих театральных знаменитостей на сцене.

— У вас прямо талант. Вам непременно бы следовало поступить на сцену.

— Покорно благодарю.

V

Ольга приехала в тот же день, как обещала.

Я, как в жару, ждал, что вот-вот она появится у меня, как это было в прежние годы, когда она приезжала из института.

Она не шла.

Я чувствовал прикосновение минут. Время обвивалось вокруг меня, как паутина, и опутывало все мысли, все надежды… Я боялся отойти от дома, чтобы не пропустить ее первого шага на моем пороге. Смотрел в окно; выходил на крыльцо…

Она не шла.

Я с волнением касался тех маленьких вещиц, которые она дарила мне, сама устанавливая их в моем доме, который должен был стать и ее домом. Это все были изящные крошечные вещицы, совсем бесполезные. У нее была страсть покупать и дарить их.

Крошечные бронзовые рамки с ее фотографией, маленький серебряный звонок, перламутровая бабочка, ножичек из слоновой кости и прочее… Все как будто предназначенное для употребления эльфов или гномиков, вроде того, что качался на подаренных ею мне кабинетных часиках.

Если и теперь она явится ко мне с таким крошечным подарком, значит…

Я приготовился к тому, как встречу ее и как прямо выскажу ей то, что считал пошлостью передавать на бумаге.

Она не шла.

Я старался объяснить: это вполне естественно в первый день, — устала с дороги; не выпускают

из объятий родители.

Уснул я только под утро. Проснулся — и испугался, что уже поздно, что она уже была и ушла, узнав, что я сплю.

Взглянул на часы: был обычный ранний час моего пробуждения. Значит, я спал всего два часа, но так крепко, что чувствовал себя вполне бодрым и свежим.

Как пуст и глух показался мне в это утро мой дом. Она не шла, и отчаяние подступало ко мне с мертвым холодом и безмолвием.

Аля, как ласточка, залетела только на одно мгновение, наполнила эту пустоту звонким смехом и щебетом:

— Я говорила. Я говорила! Она так изменилась и привезла с собой такие толстые книги: стала ужасно серьезной, и только Таланов смешит ее. Он так забавно говорит разные слова, что нельзя не смеяться. И мама смеется, и папа смеется… у него есть такие выражения, которые он постоянно повторяет и кстати и не кстати, например: «Mercі, мне что-то не хочется». Или вчера увидел, что мы разговариваем с сестрой, и говорит: «Брехом изволите заниматься». На него даже и обижаться нельзя, — так он смешно все говорит.

Она по обыкновению и глядела, и не глядела на

меня, вопросительно сверкая смехом.

— Да, да, это действительно ужасно как забавно. Ну, и что же, ни мама, ни папа уж больше не пытаются восставать против театра? Этот замечательный талант убедил их сразу в святости театрального искусства?

Она ничего не ответила на этот вопрос и проговорила, очевидно подражая комику и раскланиваясь по-мужски:

— До увиданья.

— Постойте, Аля.

— Mercі, мне что-то не хочется.

— Аля!

Она остановилась как-то на лету и ждала, даже не оборачиваясь. И в первый раз я заметил, может быть, в наклоне головы или в движении всей ее маленькой изящной фигурки тонкую, благородную линию печали. Я доволен был, что она не оборачивалась, и с фальшивым равнодушием спросил:

— А она не собиралась… навестить меня?

— Да, что-то вроде этого говорила. Может быть, сегодня… завтра… вы их увидите…

И исчезла с жемчужным смехом, в котором мне послышалось как будто недоброе торжество.

VI

Только на другой день я ее увидел.

Но она пришла не одна. Мало того, раньше прибежала Аля.

— Ну, вот, сейчас они придут.

У меня заколотилось сердце, но я насмешливо сказал:

— Ого, как торжественно! Даже гонец извещает.

Она виновато засмеялась, посмотрела на меня исподлобья.

— Это я… я сама… Меня не просили.

Не благодаря ее за это деликатное предупреждение, я с грубой насмешкой продолжал:

— Королева жалует ко мне с собственным шутом.

Она удивилась моей злости, хотела уйти, но я удержал ее:

— Нет, нет, Аля, останьтесь.

Я машинально погладил ее по руке. Маленькие нежные пальцы похолодели и слабо шевелились: точно вздрагивали в то время, как лицо было обращено в сторону от меня, к окну.

— Идут.

Пальцы выскользнули из моей руки, и лицо

засмеялось.

О, сколько важного достоинства было в толстой фигуре артиста, в этой небрежно изломанной панаме, бросавшей тень на жирное обвисшее лицо с презрительно изогнутыми губами! Я, как это ни странно, инстинктивно обратил прежде всего свое внимание на него, а не на нее. Я сразу все в нем заметил, все, начиная от походки до переброшенного через правое плечо плаща, застегнутого блестящей пряжкой в виде львиной головы.

Она шла рядом в белом платье, открывавшем ее тонкую фарфоровую шею, шла с теми еле заметными приседаниями, которые придавали ей особенную грацию в моих глазах.

У меня захватило дыхание и как будто онемели члены. Тогда, чтобы обмять себя, я быстро пошел навстречу. Но лицо ощущалось как склеенное, и было унизительно даже представить, что она может заметить неестественность выражения его.

Я заговорил издали, чтобы и голос свой обмять, как ноги и лицо:

— Здравствуйте… Здравствуйте… Очень рад вас видеть!..

Назвать ее «Оля» при нем я не посмел.

— А я уж сам было собирался к вам, да все некогда… дела.

Она как-то виновато подняла на меня опущенное лицо, и мне сразу бросилось в глаза, что в ней действительно произошла перемена, но совсем не та, о которой говорила Аля.

Сквозь обычное выражение кротости и застенчивости проступало что-то неприятно новое… Или это такое освещение: солнце прямо ей в лицо, и глаза щурятся.

Спутник ее стоял в стороне, слегка приподняв над головою шляпу одной рукой, зацепив на другую палку с большим загнутым рогом, всю испещренную монограммами друзей и почитателей таланта.

— Мой товарищ, Таланов-Сумский.

Это были ее первые слова.

Я ждал, что комик сразу отольет пулю, и, повидимому, этого же ждала и Аля, готовая уже смеяться; но он, наоборот, с большим достоинством раскланялся и вяло протянул:

— Очень рад познакомиться.

Я повел их к себе.

Но Ольга не пожелала войти в комнату, оправдываясь тем, что там душно. Лучше на террасе.

Она избегала смотреть на меня и все озиралась по сторонам, точно ища чего-то и не находя.

Нет, она не принесла мне своего маленького

подарка.

— Экая у вас благодать здесь, — по-прежнему вялым тоном протянул артист, отстегивая львиную голову на своем плаще и небрежно перебрасывая его через спинку стула. — Сказано в священном писании — благословенный юг.

Аля так и зазвенела смехом. Он притворно строго взглянул на нее и с невозмутимой миной сказал:

— Что же это вы над почтенным человеком смеетесь! Надо быть барышней, а не нахалкой.

Аля всплеснула руками, вспыхнула новым смехом и обратила ко мне глаза, в которых сквозило: «Ну, что? Я говорила вам...»

Началось.

Я взглянул на Ольгу; она тоже улыбалась и почти с восторгом бросила на него взгляд. Но артист не придавал, по-видимому, никакого значения этому успеху. Левой рукой поглаживая пухлую короткую ногу, правой он вынул позолоченный портсигар, тоже весь забитый монограммами друзей и почитателей таланта, и протянул мне, как-то в профиль роняя через губу:

— Курите.

Я отказался: не курю.

Он только повел на меня глазами и захлопнул

тяжелую серебряную крышку: монограммы исчезли в кармане.

Но оставалось лицо; благодаря морщинам, особенно около глаз, оно также казалось покрытым затейливыми монограммами.

— Это у вас каждый год тут такая замечательная декорация? — продолжал он своим изнемогающим голосом, перекатывая языком папиросу из одного угла губ в другой и указывая на море, открывавшееся прямо с террасы.

Я было не понял его сразу, но сестры на меня так взглянули нетерпеливо, что я поспешил ответить:

— Да, да… Как же, каждый год.

Аля так и залилась смехом. Ее сестра едва сдержалась. Но этот раз мне особенно не верилось в смех Али, который, видимо, комик принимал начистоту.

— У вас здесь, говорят, и фрукты свои, и виноград… все этакое… — многозначительно продолжал он. — Всякие другие напитки…

— Да, да… Не угодно ли испробовать?

Я рад был, что это дает мне возможность двигаться, и стал распоряжаться, чтобы подали фрукты и виноград, и вино…

— Винограда еще мало, — оправдывался я, —

вот только первые сорта Мадлен.

— Merci, мне что-то не хочется… — выговорил он уже известную мне фразу, от которой обе опять засмеялись. — Я предпочитаю эту штуку не в капсюлях, а в настоящем виде.

И опять я не сразу понял эту остроту и тем, очевидно, еще раз уронил себя в глазах Ольги.

— Если позволите…

Он потянулся к стакану, и я поспешил налить ему белого вина, которое он принял почти торжественно.

— Конечно, собственноручное? — скосил он глаза сначала на меня, потом на вино.

— Да, мое собственное… То есть из моего погреба.

Он сосредоточенно понюхал с видом знатока, почти погружая в стакан свой большой нос; нахмурил брови и произнес, едва шевеля губами:

— Н-да-с… Это аромат-с… Это не кашинская дреймадера-с.

Затем он пригубил вино толстыми фиолетовыми губами и как будто весь ушел в это первое ощущение, но все еще не глотал. Пригубил еще, так что рот его был полон, щеки оттопырились и губы сжались, боясь пропустить хоть каплю.

Тут, закрыв глаза, он начал полоскать вином

рот, потом откинул назад голову и долго булькал влагой, не глотая ее…

Аля удерживала приступ смеха, хотя он теперь вовсе не намерен был смешить. Нельзя было равнодушно наблюдать, как он делает вид, что пробует вино, подобно настоящему дегустатору, хотя никогда и никто, кроме актера, так не пробовал. Наконец, он проглотил вино, но и после этого долго сохранял священную неподвижность на лице.

Аля задыхалась от смеха и заражала меня. Я уже не мог более сдерживаться и метнулся в дверь, где дал волю своему хохоту.

Это меня как-то сразу освежило и успокоило. Дикие подозрения, приходившие мне в голову, упали, и я даже готов был обвинять себя за нечистоту своих помыслов, оскорбительную для Ольги.

Через минуту я вернулся как ни в чем не бывало и уже спокойно наблюдал, как он с благодарностью поглядывал на меня, отпивал вино и пошлепывал губами, точно аплодировал вину.

— Н-да-с… Это винцо… Это нектар… Тут поймешь Ноя как нельзя лучше… Но что ж это я один тяну…

— Вам? — нерешительно спросил я сестер.

Ольга взяла свой стакан, глядя прямо мне в глаза. У меня сразу расплавилось сердце.

Аля тоже подставила свой:

— И я хочу выпить!

Это уже имело несколько торжественный вид, и артист не замедлил провозгласить:

— За здоровье хозяина!

— Нет, за меня что же… благодарю. Я должен был догадаться сам… — и я сказал: — За ваше искусство.

Ольга вскинула голову и с недобрым укором остановила меня:

— Ну, зачем же? Ведь это не искренно. Хозяин не любит театра, — как будто избегая назвать меня по имени, прямо пояснила она.

Но вместо сочувствия, которое ожидала найти в нем, тот совершенно спокойно возразил:

— А-а… Ну так что ж… И он прав… Театр в таком виде, как сейчас, особенно в провинции, отжил свой век. Он должен быть реформирован на новых началах. Это должно быть не лицедейство, а богослужение… религия… нужно снять покровы рутины, обнажить его, так сказать, как обнажали себя древние во время танцев. Культ Диониса и все в таком роде… Надо только смелость… Дерзание. Нагота священна…

Я ровно ничего не понимал в этой речи, которую он произносил с таким глубоким убеждением, закончив патетическими словами:

— Но это уже сделаем не мы… а вот… они… Feci, quod potui[1]. — Он указал на Ольгу. — Новые светочи искусства… За них, надеюсь, и вы не откажетесь поддержать мой тост.

Ольга вся вспыхнула и поднялась, но потом снова села, и стакан дрожал в ее руке, когда она чокалась со мною.

Аля глядела на меня во все глаза, и эти глаза смеялись:

— Оля, ты должна непременно дать прочесть хозяину «Религию красоты».

Ольга выпила вино, и лицо ее сразу заволоклось прозрачным и как будто влажным румянцем. Глаза мгновенно опьянели и остановились с благодарным восторгом на актере.

— Спасибо вам! Вы поддержали во мне эту веру в святость искусства. Я вам так благодарна… так благодарна, что никогда этого не забуду…

Он торжественно поцеловал протянутую ею руку.

Она сконфузилась, но, чтобы побороть это чув-

---

[1] Примечания: 1

Я сделал все, что мог (*лат.*).

ство, вызывающе обратилась ко мне:

— Теперь уж никакие силы не поколеблют мое отношение к театру. Меня предостерегали, что эта среда с предрассудками, что в ней все интриги и… Совершенно напротив. Это самый чудный народ. Самый чудный… И вот уж где нет предрассудков и всякого такого мещанства. Правда ведь, Валентин Петрович?

— Ну, вы, положим, несколько идеализируете…

— И нисколько не идеализирую… И вовсе нет… даже ни капли…

Она, видимо, мстила мне за мою нелюбовь к театру, может быть, даже ненавидела в эту минуту меня за то, что я так отговаривал ее от поступления на сцену, как будто предчувствовал, каким горем грозит мне оно. Но я сейчас любил ее еще острее, еще мучительнее, чем всегда, так как видел, что она верит в эту чистоту всем существом своим и, значит, сама осталась такой же чистой, как была.

Я все еще не терял надежды. Я искал случая остаться с ней наедине, чтобы сказать ей с глазу на глаз хоть два слова, напомнить, пробудить в ней прошлое.

И в то время, как я шел показывать актеру ви-

ноградную давильню, оставшись с ней на минуту вдвоем, я шепнул:

— Умоляю нынче вечером прийти к нашим камням.

Она опустила голову и испуганно ответила:

— Не знаю… Нет… Не знаю.

Аля оглянулась на нас и закусила свою полную нижнюю губу. Она не смеялась.

VII

Но ведь она не сказала определенно: нет, — и я пошел туда.

Я пошел туда рано, когда закат еще не успел остыть на облаках и на море.

Берег был пуст, и оба камня стояли в согласном безмолвии под красным обрывом, и песок был тепел от дневного солнца, так что ноги ощутительно погружались в эту теплоту. Теперь эти камни представлялись чем-то вроде алтаря, около которого, может быть, через час произойдет обручение.

Я посмотрел на небо, на море, призывая их в свидетели моей любви. И небо и море были загадочно молчаливы в последних вздохах зари, и волны, слегка набегая на песок, точно исповедовались у земли.

— Ну, да… Я сам виноват был перед тобою… Мне не следовало тогда откладывать… Но клянусь, что это было не от недостатка моей любви.

Я подошел к камням, взглянул на них. У меня упало сердце. Что это?

На том камне, где было написано ее имя, все буквы были выскоблены, и на месте их поставлен черной краской большой крест. Теперь камень перестал быть алтарем и походил на могильный памятник. Мое имя оставалось на другом камне во всей своей глупой подновленной свежести, и это производило такое жалкое, унизительное впечатление, что я схватил попавшийся мне под руку большой валун и со стыдом, отчаянием и злобой стал сбивать осиротелые буквы.

Камень звенел от моих ударов, издавая звуки, подобные похоронному звону. Брызги, отлетая от него, попадали мне на руку и в лицо, обжигая острыми уколами.

Вдруг я опомнился.

Но ведь это могла сделать не она, а та же самая рука, которая сцарапала буквы несколько дней назад.

Неожиданная догадка вынырнула как-то сама собой. Я чувствовал себя виноватым и рад был этой вине.

Аля! Это ее проделка. Да, да!.. Я теперь уже почти не сомневался, что это сделала она и тогда, и теперь. Стало понятно и то, что она тогда притаилась, и другие странности в ее поведении. Но откуда такая злоба? За что? Зависть… Или?.. Нет, не может быть…

Я бегом бросился по тропинке наверх. Сейчас же, сию минуту надо увидеть кого-нибудь из них, чтобы убедиться. Ах, как я желал, чтобы это сделала Аля!

Шорох волн бежал мне вслед, точно хотел меня остановить, смеялся надо мной. С заката навстречу тянуло последним теплом и почти летней лаской.

Но уж совсем возле их дачи я вдруг остановился. Кто-то бежал за мной, быстро топоча маленькими ножками. Я стоял не оглядываясь, почти закрыв глаза, точно ожидая, что вот-вот кто-то подбежит сейчас и вонзит мне сзади, в шею, тонкую иглу, как раз в ту ямку, за которой помещается маленький мозжечок. На охоте мне не раз так приходилось приканчивать недобитую дичь, пронзая ее шею острым перышком из ее же собственного крыла.

Я услышал задыхающийся голос Али:

— Ей-Богу, это не я!.. На этот раз это сделала не

я. Не я! Не я!

Она точно вбивала в меня эти слова, схватив меня сбоку за руку и порывисто дергая ее, чтобы вывести меня из оцепенения и заставить слушать.

Она уже не смеялась, из глаз ее лились слезы, и вся ее маленькая фигурка беспомощно дрожала.

Падали сумерки, точно земля на могилу, и я как будто слышал шум от падения темноты вокруг. Может быть, это шумело в ушах. Издали показалась пыль: женщина гнала коров.

VIII

Далеко от дома застала меня ночь, одна из тех удивительных ночей начала осени, в которых повторяется страстная сказка знойного лета. Лунный свет в слезах блуждал по опустелой степи и по морю, подобно видению, оплакивающему изменившую возлюбленную.

Все, что днем было бело, фосфорилось в этом свете, как бы изливая таинственно-зеленоватое сияние изнутри, и тени на белом покоились и дышали, как живые. Кусты в виноградниках томились без росы и грезили, как маленькие монахини в своих темных одеждах, под которыми наливались желанием упругие кисти.

Воздух был тепел и душен; и я шел над морем по холмам, где свет и тени томились в недостижимости слияния. Иногда легкая паутинка задевала мое лицо, и я печально шептал: «А все же осень, осень...»

Я ее не обвинял. Не судьба. Ну, что ж, проживу как-нибудь и один. Я сам виноват, вот и все. Если бы я тогда поцеловал ее, все было бы иначе.

Мы стояли неподалеку отсюда. Светил закат и тишина. Это был день нашего последнего свидания, последний день нашей любви, и она стояла предо мною, опустив руки, такая чистая и тонкая, что страшно было ее коснуться.

Я знал, что мне достаточно протянуть к ней руки, и она никуда не уедет, хотя и уверяла меня, что не может отказаться от театра. Я видел, что она ждала. Но вино еще бродило.

Где-то на виноградниках грянул выстрел. Мы оба вздрогнули, и между нами как будто открылась пропасть, куда упало розовое облако счастья.

Упало навсегда. Я чуть не зарыдал сейчас от злости на себя. Если бы ночь не была так тиха и безмолвна, я бы, кажется, закричал от боли.

Но тишина подходила с безлюдной степи к морю и слушала его беззвучную лунную песню,

дрожавшую от края земли до края неба.

Далеко в стороне светились огни ее дачи. Верно, она была дома и, конечно, очень мало думала обо мне.

Я еще раз хотел пойти к нашим камням, — они были неподалеку, но что-то мгновенно остановило меня.

Шелест, всплески волн… Нет, это были голоса.

Я сделал несколько шагов к обрыву и оцепенел.

Она стояла внизу, на песке у самой воды в лунном свете, вся нагая.

Сердце мое остановилось, потом упало, поднялось, рванулось куда-то и заколотилось посреди груди, наполняя стуком все мое тело.

Не может быть… Это бред… Сон… Нет, она!.. Я видел ее всю, всю, лицом ко мне, в лунном свете, который звал ее за ее спиной алмазной светящейся дорогой в глубину неба. И она была вся такая легкая, божественно прекрасная и воздушная, что, казалось, могла скользить по этому зыбкому пути, сверкающему ослепительными искрами.

Она!

Я хотел бежать и не мог: оцепенел. Она! Я слышал ее голос, который касался меня, как будто это были обнаженные руки ее.

— Ну, вот, исполнила твое желание. Так красиво? Ты говоришь, — я царица ночи. Но у меня нет звездной короны. Я сейчас поплыву и достану ее. Иди же, иди и ты! Поплывем вместе.

С кем она говорит? С сестрой… С кем?..

Я не видел, с кем она говорила. Это было совсем подо мною, внизу, и я не мог видеть. На одно мгновение мне показалось, что она говорит со мной… Или я сошел с ума!

Но в ту же минуту я все понял.

Рыхлое белое, голое тело вылезло из-за скалы и потащилось с ней, с хихиканьем ступая на острые ракушки и гальки, растопыривая толстые ноги и руки, как будто готовясь поймать ее тело, которое, казалось, насквозь светилось в лунном свете как жемчужина.

Но она, пятясь от него, дразня его, уходила в воду, медленно погружаясь все глубже… глубже… вот она уже по колени в воде. Лунный свет за нею и перед нею расплывается зыблющимися кругами.

Тот также у воды… Он опустился на корточки и теперь напоминает громадную отвратительную жабу при луне. Он опускается почти на четвереньки у самых струй и, всхлипывая, брызгает на себя водою, в то время как она легла на спину

и вся сверкает и как будто растворяется среди вспышек алмазных огней, обливающих ее тело.

— Ну, плыви, плыви за мной!.. Поплывем — кто скорее.

Я задрожал. Огненные искры засверкали у меня в глазах и засмеялись диким безумным смехом, точно весь поток лунного сияния хлынул на меня и затемнил мозг, зажег кровь, переполнил сердце.

Дикое хохочущее бешенство закружило меня в душном вихре. Если бы я мог обрушить на них всю эту скалу подо мною, с каким бы адским торжеством я обрушил ее на них!

— Ого! Ого! Ого!.. — кричал кто-то во мне и прыгал и хохотал, как огненный дьявол.

Этот дьявол как будто рванул веревку, привязанную к моему сердцу, и сердце закачалось, подобно огромному медному колоколу, и зазвонило, наполняя меня еще большей дрожью.

Огненный вихрь несет меня на бешеной охоте за зверем, и собаки мчатся страшными прыжками, как вихри…

Что-то подступает к моему горлу. Мне хочется, напрягши все силы, приседая от нечеловеческого торжества на корточки, в неистовстве замахать руками и завопить пронзительно и дико, подни-

мая до визга свой вопль:

— У-лю-лю-лю-лю!..

И с этим воплем броситься бежать через сжатое поле, продолжая кричать, вопить и визжать сквозь истерический смех.

Вместо этого я закрыл лицо руками и потащился куда-то в сторону.

Ноги спотыкались и вязли в рыхлой земле.

Плакал ли я, — не знаю. Но все во мне рыдало бесконечным отчаянием и обидой.

На виноградниках слышались выстрелы.

1911

Михаил Чехов
(1865–1936)

Осень

Марья Петровна возвратилась с телеграфа и, усталая, села за ужин. На дворе шел дождь, было холодно и неуютно, и осень уже так надоела, что казалось, ей не будет и конца. В эти дни Петербург представлялся ей унылым, построенным на безнадежном месте, она чувствовала себя в нем одинокой и затерянной и сильно скучала по провинции, где так много деревьев, столько простора, такой белый снег зимою… Когда она поднималась к себе, лестница была освещена и слышны были звуки рояля и танцев. Это у ее хозяев, у которых она снимала комнату, был журфикс. Марья Петровна любила эти журфиксы, потому что чувствовала себя в такие ночи не совсем одинокой, и ей было приятно, что не все еще в доме спали. Проходя через переднюю, сплошь увешанную пальто, она услышала, как кто-то в зале воскликнул:

— Господа, давайте играть в фанты!

Танцы тотчас же прекратились, задвигали стульями, и слышно было потом, как то и дело, вероятно после каждого вынутого фанта, раздавался всеобщий громкий смех. Вошла горничная

принять посуду и приготовить постель: за гостями не успела раньше.

— Что, Настя, весело? — спросила ее Марья Петровна, кивнув головою в сторону доносившегося смеха.

— И-и, барышня, — отвечала Настя. — Куда уж нам веселиться! Наше с вами дело осеннее!

Настя тоже была девицей лет под сорок, тоже, по-видимому, одинокой. Марье Петровне хотелось поболтать, не быть одной, и ей стало жаль, что горничная собиралась уже уходить.

— Настя, отчего вы не вышли замуж? — спросила она ее.

Настя посмотрела на нее и просто отвечала:

— Никто не взял, барышня, оттого и не вышла.

— Неужели у вас не было женихов?

— Мало ли женихов, да никто без приданого не брал! Кабы приданое было, то разве бы я так по чужим людям трепалась? За первого бы пошла!

— А любовь?

— Да что любовь! — усмехнулась Настя. — Это только в вашем сословии все про любовь да про любовь. А в нашем хороший человек, да не пьяница, да добрый — вот тебе и любовь! А я на вас все не надивлюсь, барышня, отчего это вы-то засиделись в девках?

За стеной снова заиграла музыка и снова затанцевали, и эта близость чужого счастья располагала к мечтам и к воспоминаниям о прошлом. Марье Петровне было весело с Настей и хотелось поговорить хоть с ней, отвести душу, чтобы потом, быть может, долго краснеть за свою откровенность. Она прошлась по комнате и, чувствуя, как почему-то запылали ее щеки, стала гладить по ним руками.

— Отчего я не вышла замуж? — отвечала она. — Не пришлось, Настя! Были и женихи, а не пришлось. Сватался один офицер, но тогда я была еще молода и отказала ему. А потом умерла моя мать, и отец увез меня жить в деревню. Ах, Настя, какая это была грустная, тяжелая жизнь! Хозяйство, вечные страхи за урожай, копеечные дрязги и запись мелких, ничтожных расходов! Иногда стояли чудные вечера, пели соловьи, но так, бывало, умотаешься по хозяйству за день, что и не знаешь, как доберешься до постели. Отец мой был больной, и у нас никто не бывал, кроме учителя да попа. Так моя молодость и проходила даром. И бывало, когда доносились к нам в усадьбу пение, игра на гармонике и веселый смех деревенской молодежи, — ах, милая, как мне хотелось тогда сбросить с себя всю эту обузу дела, позабыть,

что я барышня, пойти на деревню и тоже стать в хоровод — и жить, жить хоть этой мужицкой, но человеческой жизнью! А когда я вырвалась из усадьбы, мне уже было немало лет…

— Chaine des dames![2] — раздалась за стеною команда дирижера, и слышно было, как позвякивали офицерские шпоры. — Arrêtez![3]

— Вместе с отцом мы переехали на юг, — продолжала Марья Петровна, — к морю. Его плеврит перешел в чахотку. Я ухаживала за ним, как сиделка, и целые дни проводила около него. Усадьбу продали, сверх банковского долга выручили только самые пустяки, и те годы моей молодости, Настя, которые я прожила в усадьбе, так и остались не нужные никому. Мы наняли жалкую меблированную комнату, воздух у нас был пропитан запахом лекарств… но и здесь, голубушка, сквозь эту хмурую обстановку больничной жизни к нам проник луч радостного света. С дальнего севера приехал один господин

---

[2] Примечания: 2

Chaine des dames (или шен де дам) — это фигура в исторических танцах, в частности в контрдансе. В переводе с французского «Chaine des dames» означает «цепь дам». В этой фигуре дамы встречаются в центре, меняются местами, подавая друг другу правые руки, а затем с кавалерами вращаются, используя левые руки.

[3] Примечания: 3

Остановитесь (*фр.*).

и… сделал мне предложение.

— Ну и что же? — спросила ее Настя с интересом.

— Разве я могла бросить больного отца? — отвечала Марья Петровна. — Мы должны были жить на юге, а ему надо было уезжать на север.

Настя сделала большие глаза, хотела было что-то ответить, но в это время из прихожей ее позвали:

— Настя, иди же накрывать на стол!

Горничная спохватилась, выбежала из комнаты, и Марья Петровна осталась одна. Она села за стол, подперла руками виски и стала вспоминать.

Бурное, серое море, тяжелые облака нависли над горами, и на вершинах лежит снег. Марья Петровна стоит на балконе и старается разглядеть в бинокль, когда будет отчаливать от пристани пароход. Он долго борется с волнами и, наконец победив их и выпустив массу черного дыма, выходит в открытое море. На нем — ее последняя надежда… Она провожает его до тех пор, пока он не скрывается за лиловым мысом, и ей делается так грустно-грустно… Теперь ей уже никто больше не сделает предложения!

Но вот и весна. На кладбищенской церкви,

на горке, звонит колокол. Поют певчие. Ее отца выносят вперед ногами и под кипарисами закапывают в могилу. Она одна-одинешенька на свете!

Она идет по набережной и вдруг неожиданно встречает свою гимназическую подругу. Боже мой, как они обе переменились! Около подруги — две девочки, ее дочери. Когда Марья Петровна знакомится с ними, они делают реверанс. Если бы она вышла тогда замуж за того офицера, то, быть может, и у нее были бы теперь такие же славные дети и она не была бы так одинока, как сейчас.

И ей страстно захотелось вдруг стать матерью, иметь семью, много детей, хлопотать для них, обшивать, учить с ними уроки…

Она обнимает девочек, жадно их целует, прижимает их к сердцу, а они смотрят на нее большими глазами и не знают, как им отнестись к этой бурной, неожиданной ласке.

— Ах, Маруся! — говорит Марье Петровне подруга. — Поверь мне, главное в браке не муж, не роман, а дети! Я не знаю, что бы я делала без детей.

…За стеной перестали танцевать, и где-то вдали, должно быть в другой комнате, запели хором. Марья Петровна насторожилась, чтобы лучше

расслышать, но слова едва до нее долетали. Что-то знакомое, отдаленное, что-то такое, что она слышала еще во дни молодости, когда тоже была счастлива, и что заставило и теперь радостно забиться ее сердце. Какая досада, что не слышно слов!

Она вспомнила, что дверь из хозяйской гостиной выходила в коридор и что в коридоре теперь, вероятно, гораздо слышнее. Она встала, прошла на цыпочках через переднюю, в которой теперь было темно, тихо отворила дверь в коридор и стала прислушиваться.

Вдруг кто-то прошел в переднюю. Звенели шпоры, и слышно было, как шуршало шелковое платье. Поравнявшись в темноте с Марьей Петровной, офицер взял свою даму за руку и нежно-нежно, как можно говорить только один раз в жизни, стал уверять ее в своей любви.

— Будьте моей женой, — сказал он и поцеловал ей руку. Она отдернула от него руку и резко и отрывисто проговорила:

— Нет!

Марья Петровна почувствовала, как вдруг слезы подкатили ей к горлу, как застучало у нее в висках, ей мигом представилась вся ее жизнь и стало невыразимо жалко не его, этого отвергну-

того влюбленного офицера, а ее, эту незнакомую ей девушку, которая так нерасчетливо отнеслась к тому, что посылала ей судьба. Глупая! Любовь придет и пройдет, но вместо нее останутся дети, это дар божий, который наполняет женщине жизнь и делает ее счастливой!

И, не в силах сдержаться, Марья Петровна высунулась из-за двери и громко закричала:

— Соглашайтесь! Соглашайтесь!

А потом она вбежала к себе в комнату, заперла за собою дверь и, схватившись обеими руками за грудь, в волнении заходила по комнате.

«Что я наделала! — ужаснулась она. — Что я наделала!»

Ей было стыдно, и в то же время что-то подсказывало ей, что если у человека и у животных право первому говорить о своей любви принадлежит мужчине, то в этом есть своя правда, та самая правда, как и в том, что в детях для матери счастья больше, чем для отца. И теперь, когда для нее уже нет впереди никакой надежды, она отлично понимает, что, отталкивая от себя признание мужчины, девушка грешит против этой вечной правды и против всей своей жизни впереди.

«А если девушка не любит?» — вдруг встрепенулась Марья Петровна.

Но теперь, с высоты ее тридцати четырех лет, в эту минуту ее полного одиночества на свете, этот вопрос показался ей мелким и незамысловатым, как в молодые годы кажется нам незамысловатой вся предстоящая нам жизнь впереди.

А рядом по-прежнему пели хором, и никому не было дела до телеграфистки и до слез, катившихся у нее по щекам. Вместе с нею плакало и грязное петербургское небо, и слезы его текли по стеклам единственного окна в ее комнате, выходившего на двор.

«И-и, барышня! — звучала у нее в ушах фраза Насти. — Наше с вами дело осеннее!»

Марья Петровна упала головою на подушку и горько заплакала.

— Осень! Осень! — всхлипывала она. — А впереди — одинокая, безнадежная зима!..

1902

Нина Петровская
(1884–1928)

Осень

Ядавно уже не люблю осени. Может быть, с тех дней, когда иссякло безумно-юное опьяненье души, которое мы переживаем раз в жизни, только раз в жизни. Но как это случилось — не помню.

Вот однажды заснул, еще опьяненный, во сне дышал сладко и жадно, а утром открыл глаза — они были тусклы и не хотели света, и я понял, что все позади.

Может быть, это произошло в осеннее утро. Той ночью в первый раз кристальный налет инея лунными пятнами лежал на крышах, и деревья трепетали от холода мелкой мучительной дрожью. А день был тихий и жаркий, с страстными оттенками золота и крови. Только в его голубом взгляде залегла стеклянная неподвижность — вечная память о жестокой ночи.

Вы замечали, как осенью звонят колокола? Совсем особенно, точно сзывают мир на большой прощальный праздник. Этот пронзительно-грустный звон плывет над улицами тяжелой певучей волной. Его слышишь везде — на бульварах, в кафе, в ресторанах.

В комнате через закрытые окна проникает

он, заглушенный музыкой чьей-то неутешной грусти. От него хочется стиснуть зубы и заломить руки.

На улицах в этот час особенно шумно. Но они уже вечерние и призрачные, и обыденные фигуры людей от сумерек и мглы кажутся нарисованными на плоскости — черными печальными тенями.

В один из таких вечеров за огромным гладким стеклом цветочного магазина появляется первая тубероза — тонкий бледно-зеленый стебель, измученный и хрупкий, два-три распустившихся мертвенно-белых цветка. В густом опьяняющем запахе сладкая отрава тленья и смерти. Может быть, так пахнет в комнате чьей-то мертвой невесты, и так же, как длинные белые бутоны, влажно-холодны и тяжелы неподвижные пальцы сложенных рук.

Они всегда появляются осенью — эти страшные сладкие цветы. Их запах — одна из нот ее мелодий, один из звуков ее похоронного напева, который поют вечерние колокола, бледно-золотые закаты и неведомо о чем загрустившие человеческие души.

* * *

Вечер. Колокола звонят, медленные сумерки острой тоской ложатся на грудь. Все позади, все ушло.

Странное существо, твое лицо бледней лепестка туберозы — почему ты сегодня со мной?

Третьего дня я увидал тебя в первый раз. Ты понимаешь, — длинная, длинная жизнь без тебя. Там было другое лицо и другие глаза. Они еще смотрят на меня иногда бессильным погасшим взглядом, но холодная осень сковала губы и с них не срывается зов.

Она смотрит без удивленья, без укора, будто издали, будто сквозь дымно-белый холодный туман и говорит:

— Разве мы что-нибудь знаем? Помнишь тогда вечером — я почувствовала тебя среди других. Ты передал мне через стол стакан вина, и от твоего невольного прикосновенья у меня задрожали пальцы. А потом ты поцеловал меня взглядом и позвал.

Склоненный профиль правильно тонким рисунком выступает из пепельной мглы — бездумный и нежный.

Такие лица бывают у мертвых, когда еще близ-

кие, но уже навсегда простившиеся с землей, они улыбаются с погребальных подушек неизъяснимо-сладкой улыбкой сомкнутых губ.

Где я видел тебя? Может быть, это о тебе грезил Метерлинк в своих рассказах о странной бесстрастной любви, за плечами которой всегда дышит прекрасная нежная смерть?

Может быть, это отблеск твоей улыбки сияет в бессмертных виденьях Леонардо да Винчи?

Отчего ты так странно печальна?

— Я не печальна, — отвечает она, улыбаясь еле заметным трепетом губ. — Я не умею и не знаю, зачем говорить. А разве ты боишься молчанья?

Она откидывает голову. Тускло-черные кудри упали на спинку кресла. Нежное мертвое лицо с восковой белизной на висках, с синей тенью ресниц на холодных щеках выпуклым рисунком выступает из траурной рамы.

Что я знаю о ней? Что могу я сказать? Это сон осенней безрадостной ночи. Это туберозы за черными стеклами витрин немым цветочным языком рассказывают странную волнующую сказку о мертвой невесте.

— Тебя не будет завтра?

— Да, — отвечает она тихо. — Но сегодня я буду с тобой. Мне хорошо.

Сгущается мрак. Едва вижу белую линию лба и темные глаза — открытые или закрытые — не знаю. Холодные тонкие пальцы чуть касаются моей руки, и она молчит.

Я слышу ровное дыханье, вижу бледные кисти слабых рук и тихо качаюсь в прекрасном тоскующем сне.

Склоняемся нежно и близко. Но где же мы, где мы?

— От твоих губ пахнет листьями, — говорит она улыбаясь.

— Какими листьями?

— Не знаю. Точно в лесу. Я люблю тебя.

Окна открыты. Синие глаза фонарей острыми точками вспыхнули во тьме.

Исчез из глаз знакомый каменный рисунок. В его узоре, спутанном ночью, — какие-то арки, мосты и аллеи. Их не было днем. Все другое, все непохоже на правду.

— А завтра тебя не будет.

Она прикладывает пальцы к моим губам капризно-детским движеньем и говорит:

— Зачем ты о завтра? Неужели ушла всеблагая легкость и радость, улыбка в любви и страданьях? Я не люблю тяжелого, надрывного, я знаю только ясную радость сближений — светлые сны

моей души.

Покорно целую похолодевшие пальцы. Да, это сказка о мертвой невесте.

Должно быть, поздно. Весь дом затих, и не грохочут пролетки.

А может быть, умер весь мир? Может быть, мертвы мы оба и где-то в глухой изначальной тьме доживаем последние трепеты земных волнующих чувств?

Ее голова у меня на коленях. Руки спокойно лежат на груди.

— Ты хочешь спать? — спрашиваю я и сам удивляюсь вопросу — спать в эту ночь!

— Да, — отвечает она, улыбаясь, как сонный ребенок. Снимает платье и стоит в белой рубашке, тонкая, невинная, с печальным лицом.

— До тебя меня не ласкал никто, — говорит она серьезно. — Тебя это радует или печалит?

Ложимся близко. Нежные руки обвили мне шею душным кольцом.

— Останься так, — шепчет она, засыпая. — Засни около меня. Мы близки давно, точно с детства я знала тебя.

Я засыпаю и просыпаюсь. У меня на плече ее волосы и близко ровное дыханье.

Иногда мне казалось, что я уже умер, — так

далека была жизнь, так немо и холодно тело.

Проснулся я первый на рассвете. Кто-то злой уколол меня в грудь заостренной и тонкой иглой. Я открыл глаза и понял — навсегда. Наклоняюсь над ней, целую бледный лоб и спутанные кудри, узкие кисти рук, сложенные на груди, целую с благодарностью и изумленьем.

Она открывает глаза. Утро уже бросило в них суровые синие тени.

Не смотри так. Я знаю, не нужно ни слез, ни тоски.

* * *

Потом все было просто. Она одевалась и казалась маленькой гимназисткой, спешащей на урок. Потом я шел за ней по лестнице и нес черный кожаный сак.

Помню блестящие медные гвоздики — по три у каждого ремешка. Помню пустую утреннюю улицу и липкий мокрый асфальт. Ехали молча. Седой туман ложился на ее щеки, и непроницаемо смотрели ее дневные суровые глаза.

На вокзале почему-то пили чай. Рядом за столиком шумели инженеры, а в глаза мне тупо и прямо смотрело белое лицо вокзальных часов. Только прощаясь, я увидел еще ее улыбку

— истомленный трепет побледневших детских губ. Вот и все. Когда поезд медленно отходил от платформы, я бросился за ее вагоном. Надо было догнать, надо было сказать… Но огромная пустая телега для багажа загородила мне дорогу. Кто-то грубо схватил меня за плечо, и я очнулся.

И все было грубо и просто в это мокрое осеннее утро.

1907

Сны октябрьских ночей

I

Он пришел ко мне в сумерках в забрызганном грязью пальто, весь желтый, точно та шафранно-липкая мгла, что целый день томила город, впиталась в его озябшее сгорбленное тело, точно сам он стал привидением беспросветного октябрьского дня.

Почти стемнело, но мы не зажигали огня.

Чуть видел я лицо его. Отчетливее выделялись руки, странно белые, беспокойные. По этим судорожно сжатым костлявым пальцам я понял без слов, что сегодня его волнует что-то необычайное, но это не встревожило меня.

Целый день обессиливающая сонность наплывала из окон, под череп проникала она и раскидывала там серую ленивую паутину, от которой бесцветными и неподвижными стали мои мысли и вялым ослабшее тело.

Не хотелось двигаться, было странно говорить.

— Сегодня я попрошу тебя оказать мне большую услугу, — сказал он, — только не здесь и не сейчас. — Он пугливо оглянулся на дверь и

смешно вытянул длинную птичью шею. — Уйдем поскорее отсюда!

Ленивая бездумная дремота совсем отуманила мозг. Трудно было найти пальто, и пальцы мои долго шарили по темной стене, прежде чем смог я одеться.

Мы вышли и шли.

Туман все сгущался. Утопая во мгле, мы брели по бесконечным улицам, то мелькая в дрожащих кругах фонарей, то теряясь в черных, как сажа, пространствах.

И чем дальше уходили мы, забывая дорогу, тем легче, будто бестелеснее, становился я весь. И когда неожиданно выросла перед нами стена, испещренная змеиным узором дождя, я, может быть, пошел бы через нее так же легко и свободно, но холодные цепкие пальцы поворачивали мои руки и давали новое направление ленивому нечувствующему телу.

— Вот тут побудем, — сказал он у каких-то дверей, и я увидел его умоляющий взгляд.

Пожарно-желтый свет сверкнул мне в глаза, распахнулись широкие двери, мелькнули чьи-то бритые угодливые лица, и мы пошли по красным коврам.

Сели за столик. Были огни, было много огней,

повторенных ослепительной зеркальностью стен. Белые пятна лиц смотрели из зеркал и вокруг.

Пронзительно острые звуки веселой музыки, как скрипящие звонкие нити, заплели эту залу. Было душно и трудно дышать.

— Пей, — говорит он, протягивая стакан дрожащей рукой.

Вино, смеясь, горело пьяно-алыми дрожащими огнями, а рука его, с тонкими желтыми пальцами, липкая и холодная, так напоминала труп, что мне казалось мгновеньями, будто ползет уже тяжелый запах тления, слитый с ароматом пряно-жирной октябрьской земли.

Я закрывал глаза, и все исчезало, и опять возвращалась истомная сонность длинных улиц, утонувших во мгле.

Он пробудил меня вопросом, прозвучавшим дико в этих бессмысленно веселых стенах.

— Ты веришь в бессмертие?.. — спросил он. — В вечную жизнь?.. В вечную муку?.. — добавил он чуть слышным свистящим шепотом, от которого быстро задышала вдавленная грудь.

В глазах его, за мертвой пленкой тумана, вспыхнул острый тревожный огонь, будто ответ мой мог быть его последним приговором.

Я помню чувство холодного, безжалостного любопытства, когда я взглянул в это истомленное, каждой чертой дрожащее трусливым ожиданьем лицо.

Я долго и лениво оглядывал эту залу с безвкусно пестрыми цветами, где мертво дробились желтые и красные огни, и у меня были веселые и страшные мысли.

Я думал: «А что будет, если подойду я к одному из них и зрачки мои, как тонкие жала, вонзятся в него? Не увижу ли я пустые черные дыры, а через них все те же зеркала, и лица, и эту эстраду, где так забавно взмахивает палочкой толстый человек в маскарадном костюме?»

Смотрел кругом, и весь мир в те минуты замкнулся для меня в этой зеркальной комнате, и здесь искал я ответа на странный неожиданный вопрос.

И думал: «Каждый день все люди будут приходить к этим мертвым влекущим огням, и до рассвета здесь пройдут их чадно пляшущие ночи.

Так будет всегда, до смерти, пока не придет Она, о которой забыли.

Немая и жестокая, протянет над ними бескровные, не знающие пощады руки, жадно

раскроются сырые злобные ямы и поглотят истомленные тела.

А потом?.. А потом?..»

— Конечно, не будет ничего, — говорю я лениво и уверенно. — Ни тебя, ни меня, ни их. — И губы мои расплываются в бессмысленно дрожащую улыбку.

— Значит, Она не страшна? — спросил он с восторгом, и кирпично-горячий румянец проступил на острых скулах.

Но краски быстро померкли, и опять лицо его стало тусклым, и туманные волны заструились из глаз.

Он придвигался все ближе, стараясь касаться меня, и всякий раз я вздрагивал, точно от прикосновения к трупу, и становилось душно, и тяжелели, смыкаясь, глаза.

Стало поздно, должно быть, очень поздно.

За всеми столиками сидели женщины. Они слетелись сюда, как те веселые зеленые мухи, что вьются над падалью в золотые летние дни. Они казались тенями из другого мира, не того строгого, дневного, в котором равномерно проходят белые спокойные часы, а другого — тайного, ночного, полного соблазна и греха.

Сквозь пелену моей сонности я видел лицо его,

тоже иное, с блуждающей улыбкой в углах плоских губ, с глазами, опьяненными мгновенной мечтой. И тогда уже точно не я, а кто-то другой во мне властно сказал: «Уйдем!» — и через несколько мгновений мы вышли.

Сон совсем окутал меня.

Мы ехали куда-то. Отчетливо, как бывает только во сне, я помню серую быструю лошадь и широкую спину в блестящем кушаке.

Мелькали голубые, где-то высоко горящие огни, потом мимо нас плыли темные стены деревьев. И наконец пустынно-длинная аллея, где мы остались вдвоем.

Он дрожал, прижимаясь ко мне, и шептал мне над ухом странные полуслышные слова.

Высокие деревья протянули над головами уродливо-черные лапы, чернильная тьма закрыла все дали. Мглистое небо упало на землю и затопило ее.

Тайна и ночь простерли на все безраздельную власть, и мы двое лишь творили их неизбежную волю.

Свинцовая полоска пруда засквозила вдали, раздвинулись деревья, сухие камыши слабо шелестели на берегу.

Он остановился, близко наклонился к моему

лицу и зашептал уже совсем бессвязно: «Так нужно… иначе нельзя… но сам не могу…»

И в груди у него со свистом дрожало и билось, когда он просунул мне в руку что-то тяжелое и такое разом понятное, что пальцы мои сначала отдернулись, как обожженные.

Под высоким деревом стал он, прижавшись к стволу.

Даже сквозь тьму я видел белое-белое лицо с черными впадинами глаз.

Две длинные костлявые руки с мольбой протянулись ко мне.

Потом сзади из деревьев вышел Кто-то сильный и темный, и двигал моими пальцами, и смеялся, шелестя по кустам, когда раздался короткий оглушительный треск, и, медленно падая, согнулось и поникло длинное неуклюжее тело.

Не оглядываясь, я шел вдоль пруда.

Медленно дымные тени реяли вокруг и вытягивались, и вырастали над серой застывшей водой, потом уходили, отступали к деревьям и плясали там тихим плавным хороводом.

И все не приближалось пробужденье, и все царил глухой черный сон октябрьских ночей.

II

«Еще необходимо любить и убивать».

К. Бальмонт

Я жду ее, и она не приходит.

Много месяцев уже вычеркнуто из жизни, и не знаю я, как могу я еще жить, и не помню ни дней, ни ночей.

Умер во мне кто-то светлый, дающий жизнь, как солнце темному миру.

Осталась безжизненно-бледная тень.

Все потонуло в безбрежности ожиданья, хотя я знаю, что она не придет никогда.

Но эту муку горькой тоски, когда каждый падающий час с медленной жестокостью отнимает жизнь, когда подкрадывается безмолвное отчаяние и леденит — как смерть, — я берегу и лелею последней любовью.

Это — безумная тонкая нить, которая навсегда связала наши далекие жизни.

Вчера я ждал ее, как жду всегда.

Падали тихие зеленые светы.

В покорном молчанье печально застыла полутемная комната.

А там, за закрытыми окнами, плясали веселые

желтые огни, и беспокойно стремились куда-то искривленные черные тени. Кто-то тихо барабанил по стеклам и шептал по углам: никогда, никогда…

Никогда — не поцелуешь золотых волос…

Никогда — не коснешься рук, позабывших о ласке…

Никогда — не будешь жить…

А я все ждал и призывал ее дикой мечтой.

…Вот стою на коленях под ее веселыми яркими окнами. На скользком огнистом асфальте далеко откинулась дрожащая тень. Льдистые иглы снежинок нежно льнут к помертвелым рукам.

— Приди, — шепчу я покорно. — Разве не довольно жестокости и горя?! Посмотри на распростертое тело… Его убивает мечта, но каждая капля умирающей крови еще звенит и поет о тебе…

И растаяла как пар прозрачно-белая ткань занавéс.

…Тонкий профиль в открытом окне. Опущены траурные ресницы, суровые тени легли на щеках, нежные пальцы забыли о ласке — в застывшем покое скрестились на груди.

…Она говорит мне о чем-то, только это не слова, это вихрь льдистых игл осыпает издрогшее тело.

С последней мольбой поднимаю глаза и шепчу ей: «Уйди».

Это марево ночи. Я один. Злая тьма опустилась с небес и все сковала тишиной.

Там внизу уже не слышно колес. Наплывает беззвучная грозная тишь полуночных часов, когда над миром крадется скелет чудовищной тоски, с пустыми впадинами глаз, с улыбкой мертвых белых губ.

Он склоняется к изголовьям — и люди дико мечутся в кошмарных снах, он касается моей груди шуршащими тонкими пальцами — и сердце не хочет биться в груди.

Я бегал и ложился, и снова мерил комнату от угла до угла. Так рвутся дикие звери, бессильные перед прутьями клетки.

— Пусть будет чудо, — молил я кого-то, и не знаю, была ли то молитва или крик ужаса к немым недоступным небесам.

А ночь все шла…

Догорели и погасли огни. Голубые кружева задрожали на потолке. В качающей сонности сомкнулись глаза.

Стерлись все грани между прошлым и настоящим, и за серой клубящейся мглой не было ни будущего, ни жизни.

И казалось мне, что отторгнут я от мира и парю высоко над туманом и мглой, бестелесный и легкий, как тень.

…Мраморные пальцы легли мне на плечи, лазурные звезды засияли во тьме.

Вот рассеялась мгла. Распахнули веселые летние окна. Закатные жаркие розы догорают за крестом колокольни. Грустно-огневые узоры угасают на стенах. Серебристые сумерки мая наплывают из окон, потом бархатно-ласковой тьмой обнимает нас ночь.

— Милый, милый, милый… — шепчут розовые губы. — Ты милый!.. — Грохочут улицы, но мы не слышим жизни. С нами тишина нездешних успокоенных стран.

В сладостной сонности онемели тела. Чуть касаются холодеющие губы.

Это не поцелуй — это Таинство — обет Навсегда. Уходим, улетаем, проносимся над безгласным миром в дивные края…

Черные совы с пронзительным визгом вылетают из оставленных чащ. Чьи-то бледные заломленные руки мелькнули под зеленой луной.

Это страна смерти, страна отошедшей печали.

Все далеко, все ушло, только глаза ее я вижу.

Они синие, синие, с их блеском драгоценных камней.

Тоненьким лучиком вся моя жизнь утонула в безбрежных сапфировых волнах.

И нету меня, и нас нет…

Хрустальная нота бесконечной грусти звенящей нитью связала души.

Целую ее волосы. Бледным золотом, непорочным сияньем горят они над снежно-мраморным лбом.

Это не поцелуй, это Таинство — Вечный Обет.

Злая боль обожгла мои губы.

Кто-то беззвучно засмеялся в тиши, кто-то тихо зашелестел по обоям.

Я очнулся один и не кричал, и не плакал, а смеялся и ломал пальцы, точно они стали деревянными и перестали чувствовать боль.

В углах шуршали серые тени. Веселы и смелы стали они.

Расстилались надо мной, окутывали стены — и стены шатались, как пьяные, когда клубящиеся призраки жадно припадали к ним, шурша по углам.

Потом я не видел и стен.

В пустом беспредельном пространстве на тоненькой ниточке висело мое тело и не ощущало

прикосновений, только будто издалека доносились свистящие стоны, и в ответ им странно и мерно колебалась онемелая грудь.

Я не пойду к ней больше и не буду шептать под ее окнами мое покорное и жалкое «приди».

Там, где она сейчас, так же темно и страшно, та же черная глубь бесконечной ночи в глазах ее, в том же жутком сне онемела душа ее, если не слышит она вопля моей последней тоски.

Я уйду из этих стен, где властвует мука и боль, и, таясь вдоль спящих домов, буду долго брести, пока не кончится жестокий каменный город и не потопнет, как привидение, за мутной струящейся мглой.

И там, на вольном просторе мертвого поля, под визги веселого ветра, раскину руки и буду бездумно кружиться, замирая в восторге свободы.

Те бездомно-осенние тени, что реют хороводами около темных деревьев, дрожащих от страха, с тихим шепотом протянут мне лунно-прозрачные руки.

И я скажу им, что не хочу быть человеком.

Холод их радостных прикосновений застудит кровь, до сердца проникнет он, и в нем ее образ застынет, как безжизненно-ледяной кристалл.

Тогда мы захохочем, кружась, и, теряясь в бескрайном просторе, забуду я жгучую боль человеческой, огненной муки.

1905

Осип Дымов
(1878–1959)

Плод осени

I

Она обещала прийти в два часа. Он ее ждал.

Окна квартиры выходили на реку. Внизу, под самыми окнами, у набережной, шла работа. Вчера кончили разгружать барку с дровами, а сегодня с утра, когда он еще спал, тихо, тяжело толкаемая длинными скользкими шестами, подплыла барка с кирпичами. Она была огромная, чистая, многотысячепудовая. До самого верху правильными рядами были наложены розовато-красные кирпичи. Барка как будто была чревата ими. Как огромное брюхо неведомого, плодящегося беременного животного, осела она в загадочной воде, — осела, низко, грузно, прочно, словно вросла в реку.

Вода казалась загадочной оттого, что уже несколько недель над всем севером стояла неподвижная, прозрачная, нетворящая осень и не уходила. Небо было светло-сине, глубже весеннего, но обманное. Не было ветра, ласкал теплый, мягкий воздух, но все представлялось большим, коварным обманом.

Многотысячепудовая, осевшая, вросшая в загадочную воду барка казалась гигантским плодом, который выжали из себя лето и солнце и который, созрев, упал вниз в реку, и его прибило к берегу. Розово-красные кирпичи, словно бесчисленные зерна, выполнили сочную утробу спелого плода.

В этих неподвижных, холодных — цвета крови — «зернах» таилась огромная сила… Или исполинская рыбина — такая, каких теперь нет, — сонно подплыла к берегу и в тяжких содроганиях готовилась метать красную икру, что бременем переполняла ее брюхо…

У набережной стояли в ряд возы и ждали. Шестеро мужиков с тачками двигались по длинным, неверным, трясущимся доскам, расположенным замысловато-ломаной линией. Они медленно, шаг за шагом, пробирались в тело барки, унося зерно за зерном, отнимая каплю за каплей. Люди теперь копошились только на поверхности, и огромный зрелый плод ушедшего лета был неподвижен, безучастно покоен под обманным небом нетворящей осени.

Все шесть мужиков казались одинаковыми. На поворотах хитро проложенных досок каждый из них делал одно и то же сильное, красивое, враждебное барке движение и вкатывал кверху

тяжелую тачку с розовыми четко-обрезанными кирпичами. У чугунной, теперь разобранной решетки, стоял седьмой мужик и, длинным багром зацепляя тачку, помогал ей подняться к возам.

Послышался глухой звонок, милый и полный смутных обещаний. Так звонит молодость за дверью с дрожью, украдкой, в свежих перчатках и волнуясь не то от ожидания, не то от высокой лестницы.

Она была в свежих белых перчатках с тремя черными полосками сверху. Когда сняла перчатки, на белой изнеженной руке ясно были видны отпечатки этих трех полос. Потому она казалась мило земной, без страданий, вечно юной и вечно причесанной.

— Я опоздала, кажется. Разве я опоздала? — проговорила она.

— О нет, — улыбаясь, ответил он.

— Но я так спешила. Боже мой, я действительно опоздала.

— Пустяки; пятнадцать минут. Даже четырнадцать.

Он посмотрел на часы, все еще улыбаясь.

— А вы думали, что я уже совсем не приду?

— Нет, я не думал этого. Я знал.

— Почему вы знали? — спросила гостья.

— Так. Чувствовал, — ответил хозяин.

— Что вы чувствовали?

— Все.

— Что все?

Они оба улыбались друг другу неизвестно почему. Оба казались друг другу очень добрыми, нежными, деликатными.

— Ну… я чувствовал.

— Может быть, вы гипнотизер?

— Нет, я не гипнотизер; но я бывал на спиритических сеансах, — почему-то очень серьезно ответил он. Она тоже сделалась серьезной и даже печальной.

— А я не верю в это.

— Как вам сказать? Отчасти, конечно, но…

— А меня вы могли бы загипнотизировать? — спросила она, придвинувшись и глядя прямо в его большие черные глаза.

— Вас? — понизив голос, переспросил он.

— Кажется, при этом нужно смотреть в глаза.

И она продолжала смотреть, не улыбаясь.

— Да, — машинально ответил он, приближая свое лицо, она отвернулась.

— Я не хочу. Не смотрите на меня. Это зависит от того, чья воля сильнее? — проговорила гостья, закрывая своей холеной рукой милые глаза. Он

взял ее руку и сказал:

— Посмотрите, у вас на руке отпечатались три полосы.

— Это от перчаток. На этой тоже.

Она тихо пробовала высвободить свою руку.

— У вас прекрасные руки. Они когда-нибудь работали? — иронически продолжал он, не отдавая руки.

— Да-а, — протянула гостья.

— Как?

— Вот так. — Она быстро и больно царапнула его по руке.

— За что это? — спросил удивленно хозяин.

— За то, что вы трогаете мои руки.

— А разве нельзя?

— Вы видите, что нет.

— Недотрога. Но, послушайте, кто же теперь из умных женщин царапается? Это устарело — уверяю вас.

— Да я вовсе не умная.

— Деритесь, но, по крайней мере, не обижайте моего хорошего друга Григоровича, — сказал, оглядывая свою руку.

— Разве я вам хороший друг?

— Разумеется.

— Но мы знакомы… сколько времени мы зна-

комы?

Он посмотрел на часы и ответил:

— Уже четыре дня. Нет, больше — четыре с половиной.

— Немного, — засмеялась гостья.

— Да, конечно, если считать на эти обычные дни, то действительно немного.

— А как надо считать? — удивилась она.

— Надо считать ночи тоже.

— Вы говорите глупости.

— Почему же я говорю глупости?

Ей захотелось поддразнивать его.

— Вы сегодня сделались как будто ниже ростом, — с невинным видом сказала она.

— Ниже?

— Или, кажется, толще. Вы просто толстяк.

Он смутился, потому что имел склонность к полноте и это было его больным местом.

— Это оттого, что вы видели меня во фраке, — ответил он и быстро отвлек разговор: — Простите, я не предложил вам чаю. Хотите чаю?

— Нет, спасибо. Мне ведь скоро надо уйти. У нас обед. Муж будет ждать.

— Муж — это, конечно, обстоятельство, — сказал безразличным тоном хозяин.

— И очень милое обстоятельство — могу вас

уверить. Я его очень люблю.

— Бывает. Не знаю почему, но мне нравятся ваши волосы. Ну, просто нравятся.

— Что ж тут удивительного? Красивые волосы, — ничуть не жеманясь возразила гостья.

— Конечно, удивительного в этом мало, — согласился он. — Они такого оригинального цвета и, пардон, поразительно мягки, поразительно.

— У меня вылезли все волосы.

— Это вы называете вылезли?

— О, если б вы видели меня раньше. У меня было вдвое больше волос.

Он подумал, что это говорят все женщины, но промолчал, стараясь не улыбаться. Как-то само собой случилось, что он положил свою руку на ее лоб. Она удивилась.

— Постойте, почему вы трогаете мой лоб?

— Я хотел посмотреть, не простужены ли вы? — серьезно ответил он, не отнимая руки.

— Почему я должна быть простужена? Нет, я совершенно здорова.

— Ну да, я вижу: холодный лоб.

— Не понимаю. — Она все еще удивлялась. — Возьмите же вашу руку.

— При простуде всегда горячий лоб. Это уж правило.

— Какой странный, — про себя сказала она и отошла в угол.

— Почему вы ушли?

— Потому что вы, должно быть, меня принимаете за другую.

— Умоляю вас, не сердитесь.

— Мне все равно скоро надо уйти.

— Ах да: обстоятельство.

— Именно. — Она стала натягивать свои перчатки.

— Но мы увидимся, конечно? — вкрадчиво спросил он.

— Если вы будете так тревожиться о моем здоровье, то… — не поднимая глаз сказала гостья и оборвала.

— Я буду вести себя идеально. Серьезно.

— Тогда… Впрочем, вы, как спирит, должны все вперед знать.

— Я и знаю.

— Который час? Как поздно.

— Спасибо за подарок, — сказал он, опять взглянув на свою оцарапанную руку.

Она удивилась:

— Какой подарок?

— Вот. Посмотрите, немного вспухло. Вы умеете царапать.

— Хотя это уже устарело?

Он набрался храбрости и сказал:

— Слушайте, поедемте вместе обедать, как добрые друзья.

— Обстоятельство ждет, — с некоторой насмешливостью возразила она.

— Разве оно еще не привыкло ждать?

— Вы хотите еще один подарок?

— Покорно благодарю. Слишком много археологии.

— Почему археологии? — спросила она, поправляя прическу.

— Устарело, старо, древность.

— Боже мой! Сейчас же просите прощения за эту остроту.

— На коленях. — И он шутливо опустился около нее на колени.

Через пять минут она действительно ушла. Он не провожал ее: не позволила. Легкий запах духов остался еще в комнате и особенно ощущался в ладони правой руки.

— Она очаровательная, — вслух сказал он и подошел, улыбаясь сам себе, к окну.

…Седьмой мужик с длинным багром, зацепляя тачку, помог ей подняться к возам. Была видна его широкая спина в запотелой красной рубашке

и дикие волосы на щеках и затылке. Лошади, полузакрывши глаза, утомленные долгими, бесконечно однообразными думами, ждали, пока нагрузят кирпичи на возы. Розовая пыль маленьким красивым облаком ложилась над тяжелой баркой и людьми.

— Очаровательна, — повторил он и провел осторожно по оцарапанной руке, — хотя уже не молода…

II

Все еще стояли ясные обманные дни. Но посвежело. За сотни тысяч верст отсюда уже поднималась и шла тяжелой поступью зима. Впереди нее неслись сумрачные слепые ветры.

Он ее ждал. Из окна слабо дуло; это тоже раздражало.

Шесть мужиков разгружали барку. Слой аккуратно сложенных кирпичей стал тоньше на три ряда. Барка сделалась легче и чуть-чуть поднялась над поверхностью воды. Извилистый, хитро ломанный путь досок увеличился. Мужики углублялись, спускались ниже, упорно добираясь до самой сердцевины. Жилистые, загорелые, грязные, мускулистые, волосатые руки были обнажены по локоть и, толкая перед собою тачку,

на поворотах делали одно и то же сильное, красивое, враждебное барке движение.

Теперь уже мужики не казались одинаковыми. Напротив, их легко можно было различить: двое высоких, костлявых были, должно быть, самыми сильными: они вталкивали нагруженную тачку выше других, и мужик с дикими волосами только слегка помогал им своим багром. Коротконогий пожилой крестьянин был, вероятно, ленив, а может быть, нездоров; стоящий на берегу каждый раз делал ему несколько шагов навстречу, спускаясь по отлогой розовой доске. Багор его тоже стал розовый.

Послышался глухой звонок, нервный и нетерпеливый. Так звонит молодость за дверью с дрожью ожидания, смело, не рассуждая, не оглядываясь, в перчатках, у которых милые пятна на большом и указательном пальцах и в которых уже недостает маленькой белой пуговки…

Она была в несвежих перчатках, и вверху на месте беленькой пуговки болталась маленькая ниточка. Она сказала:

— Я, кажется, опоздала?

— Да, — сухо и сдержанно ответил он.

— На десять минут, — сказала она, переводя дыхание.

Он вынул часы, посмотрел и ответил:

— Вы опоздали ровно на двадцать две минуты.

— На двадцать… Я не знаю…

— На двадцать две, — упрямо и зло повторил он.

— Но я не виновата. Ты сердишься на меня? — сказала гостья, приближаясь к нему и ласково дотрагиваясь до его плеча.

— Я? Я никогда не сержусь. Я всего жду от жизни.

— Но если… если меня задержали.

— Надо об этом раньше подумать. Терпеть не могу, когда меня заставляют ждать.

— Милый, — тихо шепнула она.

— Это насилие над чужой волей.

— Ты сегодня в дурном расположении духа, — кротко заметила гостья.

— Тем более надо меня щадить.

— Разве я тебя не щажу? — как можно более мягче сказала она. — Я все делаю, только бы ты… Куда мне положить шляпу?

Он, не взглянув на дорогую шляпу, буркнул:

— Сюда. Все равно. Ну, сюда можно.

— Но я долго не могу быть.

Он молчал. Ей хотелось вызвать улыбку на его лицо, и она сказала, намекая:

— Не могу: обстоятельство.

— Какое обстоятельство?

— Мое обстоятельство! — не переставая улыбаться, повторила гостья.

— Какое твое обстоятельство? — раздраженный тем, что не понимает, спросил он.

— Ну, ты знаешь.

Он окончательно рассердился.

— Не люблю, когда со мной говорят загадками.

— Боже мой, как ты стал раздражителен. Как ты говоришь со мной.

У нее навернулись слезы на глазах. Он понял, что зашел слишком далеко; ему сделалось неловко. Подойдя к ней и положив руку на ее шею, он сказал:

— Прости, пожалуйста. Вчера поздно лег. Голова трещит.

— Может быть, мне уйти?

— Нет, зачем же. Пожалуйста. Я очень рад. Так какое обстоятельство?

— Ну, мой муж, — вяло ответила она, осушив слезы.

— Муж — да. А я думал… Он очень милый парень — твой муж.

Гостья успокоилась и села.

— Не говори так о нем, — попросила она.

— Почему же мне не говорить? Он мне положительно нравится.

— Посмотри, — проговорила она, взглянув на свою руку, — как ясно отпечатались на руке три полосы от перчаток.

— Да, да, — рассеянно ответил он.

— Но ты не смотришь.

— Я смотрю, — солгал хозяин.

— Милый мальчик, зачем ты расстраиваешь свое здоровье? Лучше раньше ложиться и раньше вставать.

Он ответил, усмехнувшись:

— Теми же словами мне пятнадцать лет подряд твердила моя бабушка.

Она покраснела, подумав, что он опять на что-то намекает:

— Я ведь не виновата, что не встретила тебя раньше и не могла отдать тебе моей молодости, — тихо проговорила она.

— Да я совсем не о том, — он поморщился.

— Я знаю, — упрямо и жалко сказала гостья.

— Перестань. Подойди ко мне поближе.

— Вот же я.

— Еще ближе. — Он обнял ее и поцеловал.

— Ты жестокий, — проговорила она.

— Что ж из этого? За то ты любишь меня, — воз-

разил он, откровенно улыбаясь и показывая свои крепкие здоровые зубы.

— Да. Я тебя люблю. Я тебя люблю.

— Знаешь, мне в тебе не нравится…

— Что тебе во мне не нравится? — испуганно спросила гостья и даже опустила руки.

— Как ты испугалась, — заметил он, довольный.

— Я? Нет… — Она потупилась.

— Конечно. Ты покраснела.

— Потому что я хочу быть для тебя как можно лучше.

— Я понимаю. Это и нужно.

Она стояла с опущенной головой и переспросила:

— Что тебе не нравится?

— Ты слишком… серьезная. Ты на все как-то серьезно смотришь. Это — ну, иногда просто скучно. Я понимаю, что могут быть минуты раздумья, но — нет, мне это положительно не нравится. Что? Почему ты молчишь?

Она ловила каждое его слово и помимо воли запоминала его.

— Я постараюсь, — ответила она.

Он продолжал, расхаживая по комнате:

— Я бы хотел, чтобы ты была веселой, беззабот-

ной, шалила. Вот именно: ты не умеешь шалить.

— Научи меня, — проговорила она и взглянула на него.

— Это само должно явиться. У меня в прошлом году была подруга; она называла меня: мой бычок.

— Почему? — спросила она, закашлявшись. Этим кашлем она хотела скрыть ревность, которая являлась каждый раз, когда он говорил о женщинах.

— Не знаю. Ха-ха.

— Но это совсем не умно, — обиделась она на него.

— Зато здорово, — со смехом ответил хозяин.

— Мой бычок? — брезгливо повторила она.

— Да.

— Она, верно, была моложе моего? — спросила она, помолчав.

— Опять. Перестань. Это скучно.

— Не сердись, не сердись, милый. Я больше не буду. Но ты все-таки меня любишь? — спрашивала она, обнимая и ласкаясь к нему.

— Конечно, — ответил он и незаметно зевнул.

— Это — главное.

— Наконец ты поняла, — сказал он, усаживаясь.

— Я потому грустная… Нет, ты опять рассердишься.

— Говори.

— Нет, нет, — твердила гостья.

— Я не люблю недомолвок, — хмурясь, проговорил он.

Она испугалась, что он опять рассердится, и быстро проговорила:

— Мне кажется, что в наших отношениях что-то потеряно. Какая-то свежесть ушла… какая-то… я не знаю, мне так кажется.

— Сентиментальность, — отозвался он.

— Я мечтала, что будет не так, мы будем друзьями. Но все равно, и так хорошо, мой… бычок.

Он стал подробно объяснять. Она слушала и угодливо кивала головой.

— Видишь ли, я считаю, что любовь выше всего. Это самое важное в жизни. Я, конечно, говорю не о мелкой, пошлой любви. Но настоящая страсть, голая страсть, она возвышает человека, облагораживает его душу и расширяет его умственный кругозор. Поэтому если ты когда-нибудь изменишь мне — слышишь, — если ты когда-нибудь изменишь мне, то это будет непростительный грех перед природой и перед вселенной. Чему ты смеешься?

— Мне смешно, — сказала она, искренно улыбаясь.

— Когда я говорю серьезно, мне кажется очень странным смеяться, — обидчиво и наставительно проговорил он.

— Милый мой мальчик, я смеюсь потому, что ты можешь подумать, будто я когда-нибудь тебе изменю.

Он был доволен таким оборотом.

— Гм… Так. А я думал… — бормотал он.

— Как же я изменю? Для чего? Мне смешно даже слышать это.

— Ты сегодня придешь вечером? — вдруг спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Сегодня я не могу. — Она потупилась и повторила несмело: — Не могу.

— А я хочу, чтобы ты сегодня пришла.

— Муж уходит, и ребенок останется один, — объяснила она виновато.

— Докажи, что я тебе дороже ребенка.

Он встал и, оправив цветную жилетку, стал ходить по комнате.

— Зачем ты мучаешь меня? Я едва вырвалась на минуту.

— Я хочу, — повторил он твердо и упрямо.

— Хорошо, я приду, — покорно сказала она, и

— странно — тотчас же ей сделалось легко.

— Ты все-таки славный коллега, — довольный, проговорил хозяин, потрепав ее снисходительно по щеке, — коллега, рубаха-парень.

— А теперь отпусти меня, — попросила она.

— Отпустить тебя?

— Прошу тебя. Я вечером приду. Меня ждут дома. Я сказала, что…

Через час она действительно ушла.

Одна из тачек на повороте хитро изломанных досок опрокинулась, и кирпичи с тяжелым мертвым стуком упали. Мужик с больным опухшим лицом скверно выругался. Двое подошли и стали помогать. На загорелые, грязные растрескавшиеся пальцы они надели огромные кожаные продранные рукавицы. Мужик с багром, пользуясь отдыхом, курил. Его дикие, нечесаные волосы смешались с розовой пылью кирпичей. На морды лошадей, запряженных в громоздкие возы, были напялены мешки с кормом. Это очень походило на те рукавицы, какие теперь были у мужиков.

Люди, лошади и заготовленные возы все вместе как бы были в заговоре против этой живой тучной беременной кирпичами многотысячепудовой барки, осевшей у чужого берега, в загадочной воде.

III

Небо опустилось, разваливалось лето, догнивал год. Вода сделалась темной, злой на вид, холодной, отчужденной; тоже готовилась замереть подо льдом, как личинка в куколке, чтобы потом воскреснуть; ее уж не интересовал этот год. Носился ветер над городом и морщил воду. Гривы лошадей, волосы мужиков и рябь реки относились ветром в одно направление, как будто это были части одного и того же сложного механизма. Несколько капель упали на стекло окон и легли косыми блестящими короткими линиями; эти линии шли в том же направлении, как и гривы меланхолических, одурманенных думами лошадей.

У берега медленно и тяжко поднималась и опускалась многотысячепудовая барка. Как будто гигантское животное дышало.

Послышался глухой звонок, нежданный, докучный. Так звонят к молодости, стучатся и ждут за дверью, и униженно смотрят в холодные глаза. Так терпеливо выжидают, заботливо приодевшись, чтобы понравиться в новых, ярко-желтых перчатках, облегающих тонкую, теперь холодную руку.

Она была в длинных желтых перчатках, облегавших тонкую руку. Ее грудь подымалась и опускалась, и голос прерывался не от волнения, не от высокой лестницы.

— Я пришла… Я думала, — начала она и остановилась, пораженная холодностью его глаз.

— Может быть, я не вовремя?

— Ничего, пожалуйста, — сказал он.

— Я была здесь поблизости и подумала: может быть, вы дома?

Он ответил насмешливо:

— Да. Я дома. Садитесь.

Наступила неловкая пауза. Она взглянула на него и проговорила:

— Но я не хочу вам мешать.

— Собственно говоря, — ответил он, — я действительно собирался выйти по делу.

— Я сейчас. Только отдохну.

— Сегодня холодно? — спросил он, заинтересовавшись своими ногтями.

Она не слышала, занятая своими печальными мыслями.

— Я спрашиваю: холодно ли сегодня?

Она испуганно и быстро ответила:

— Да, ветер.

— Разве так трудно было ответить сразу? —

строго спросил он, уставив на нее холодные глаза.

— Я ведь ответила, что дождь.

— Дождь. — Он усмехнулся. — Нет никакого дождя.

Он поднялся со стула и подошел к окну.

— Я наблюдаю за этой баркой. Я вообще люблю наблюдать жизнь. Прежде здесь работало шесть мужиков, а вот уж два дня как их только пять. Вероятно, один заболел, простудился, что ли.

Он поморщился и стал думать — когда она догадается уйти.

— Ты не любишь меня, — наконец сказала она.

— Здравствуйте. Новости.

— Нет, я знаю, я чувствую, что не любишь.

— Да тут нечего чувствовать, — рассердился хозяин. — Я уж имел честь сообщить вам об этом.

— Что же будет?

— Я не знаю. Я ничего не знаю.

У нее было растерянное, старое, заплаканное лицо, и он старался не глядеть на нее.

— Что будет? Ничего.

— Ты хочешь меня выбросить, как… как… — У нее опять покатились слезы.

— Боже мой, — кисло протянул он. — Я не понимаю, чего, собственно, вы от меня хотите? Обо

всем уже переговорено, перетолковано десять раз. Мы разные люди, мы совершенно разные. Вам доставляет странное удовольствие приходить сюда, в пятый раз.

Она прервала:

— Я после этого была всего три раза.

— Ну, три, — согласился он. — Вам доставляет удовольствие мучить себя, мучить меня, жевать одно и то же. Нет, покорно вас благодарим. Господи, только не плачьте.

— Я не плачу, — ответила она, изо всех сил сдерживая слезы. — Я только… Ну вот, я не плачу.

— Мы разные люди. Это сразу было видно… Послушайте, что это у вас за перчатки?

— Ведь вам нравится такой цвет.

— Мне? Этот ужасный рыжий цвет? Матушка, что с вами?

Он остановился против нее, притворяясь удивленным.

— Помните, в театре одна дама носила, и вы сказали… сказали…

— Ну да, ей, к ее светлым волосам, они шли. У вас нет никакого вкуса. Что вы делаете? Зачем вы рвете перчатки?

— Они мне не нужны, — зло и упрямо сказала она, разрывая бедные перчатки.

— Глупо. Неумно.

— Я знаю: вы меня всегда считали дурой.

— О господи, — вздохнул он с видом невинного мученика.

— Что вы сделали со мной? — вдруг сказала она, и глаза ее сверкнули. В ее тоне и фигуре было что-то такое, чего он инстинктивно испугался.

— Что я с вами сделал? Вы не девочка, — ответил он лживым голосом.

Она продолжала. Казалось, что она сделалась выше ростом:

— У меня было что-то свое, вот здесь, что я берегла в себе. У меня был прекрасный муж, он мне дороже всего.

— Но муж при вас и остался.

Ее голос дрожал. Она не смотрела на него:

— Мне стыдно ему смотреть в глаза. Мне стыдно смотреть на себя в зеркало. Мой ребенок вырастет, я его тоже буду стыдиться.

Как будто что-то царапнуло его за сердце. Он несмело сказал:

— Надо взять себя в руки.

— Я не думала, я бы никогда не поверила, что так случится. Зачем я вас встретила? Я вас даже не любила, — продолжала гостья, едва следя за своими словами.

— Ну да, это потом все женщины говорят, — бросил хозяин.

— Я думала, что мы будем друзьями. Веришь? Ты первый, первый, к которому я пришла после мужа. Ты не веришь мне?

— Верю… Да не все ли равно?

Но ей казалось, что это не все равно.

— Я теперь пустая. Я сразу стала старухой. Я хочу убить себя.

— Ну, это уж, право, лишнее.

— Я другая, я совсем другая. Ты не знаешь меня. Я люблю тебя, и потому ты мог меня сделать такой… Капля за каплей…

— Право, у меня спешное дело. Я жду визита, — прервал он, взглянув на часы.

— Да, да. Я ухожу. Прощайте.

Но вместо того, чтобы идти к двери, она села и тупо смотрела в окно.

«Когда же она уйдет?» — тоскливо думал он.

— Вы просили вернуть ваши письма, — проговорил он, подойдя к ящику и доставая заготовленный пакет. — Вот они.

— Мои письма и карточка…

— Возьмите же себя в руки. У вас ребенок и…

— Нет, я спокойна, — проговорила она, — но обещайте мне.

— Именно?

— Я бы не хотела встречать вас. Устройте это. — В ее голосе звучала надежда. Казалось, она ждала, что он скажет «нет».

— Хорошо, — ответил он поспешно.

— Прощайте. А если вы — если что-нибудь случится с вами, ну, например, вы заболеете… то позвоните мне по телефону — вы помните мой номер телефона?

Он старался ее выпроводить и быстро согласился:

— Хорошо, хорошо. Чему вы улыбаетесь?

— Сама себе. Если вы через месяц услышите, что я с другим, — то не удивляйтесь: я пустая теперь. Лучше всего забудьте меня совсем. Я ненужная, выброшенная.

— Да, — очень холодно ответил он и проводил до двери. — Ваша муфта.

Через минуту она ушла; ее тонкие руки без перчаток держали пачку исписанных, прочтенных и уже ненужных писем.

Косой ветер вместе с холодом пригнал уже клочья сумерек оттуда, где среди северных лесов тяжелой поступью шла, ломая сучья, злая зима.

Многотысячепудовая огромная барка теперь уже не казалась прочной, тяжелой, вросшей в во-

ду. Слой аккуратно сложенных, четко обрезанных кирпичей еще понизился; вся барка поднялась над водой, и похоже было, что у неприветливого чуждого берега сонно бьется ненужная скорлупа исполинского плода, оброненного ушедшим летом. Или труп гигантской рыбины, у которой выпотрошена внутренность, качается на поверхности холодной реки, уже готовящейся замереть подо льдом.

Мужики продолжали работать, и кирпич за кирпичом, зерно за зерном, капля за каплей обирали, сосали, разъедали живое тело барки. Они добрались уже до самой сердцевины, и хитро изломанная сеть досок врезалась все ниже и глубже…

Он стоял у окна, смотрел и думал. Странная мысль поразила его. Он не мог от нее отделаться… Эта барка была безмолвной свидетельницей его любви. Как недолго она длилась. Не глубока она была: всего несколько слоев кирпичей… Когда эта женщина пришла к нему в первый раз, барка была тяжелая, полная, как спелый плод, и над ней сияло осеннее золотое солнце. А теперь…

Но не только свидетельницей эта огромная барка, Бог знает для чего остановившаяся под его окнами, была почти живой участницей всего его

переживания. Она разделила судьбу только что ушедшей женщины. Как мужики опустошили барку, точно так же он, молодой, сильный, наглый, незадумывающийся, опустошил сердце этой кроткой, немолодой, осенней женщины. Вот она торчит под окном и не дает забыть, напоминает… Странная драма.

Пустая тачка лежала тут же, опрокинувшись на бок. Ее черное колесо резко вычерчивалось на розовом фоне многотысячепудовой барки, которая медленно исходила кровью.

1910

Петр Павленко
(1899–1951)

Осенняя заря

Он прижал руку к груди и весь обратился в слух, следуя за шорохом ее быстрого бега на цыпочках, за стеною. Вот она приблизилась к окну, слегка зацепив в темноте платьем за край стола. Вот отстранила рукой темную занавеску и, боясь вспугнуть тишину, приоткрыла окно и еще темный, непроснувшийся сад. Напев дождя ворвался в дом.

Кто мог подумать, что на закате жизни мыслима такая острая и сильная любовь, как та, что сегодня пережил он?

Кто мог сказать, что душа его еще способна на подвиг страсти, на восторг полного самоотречения, на поиски юношески бурного счастья?

Старый холостяк, он давно уже махнул рукой на то, что не свил своего гнезда, не создал семьи, не знает радости отцовства.

Семья! Шутка сказать! Ему и раньше казалось, что с созданием семьи связано много такого, чего нет в его характере, и никогда не было, и уж, понятно, не появится ныне, когда впору быть дедом. И вдруг!..

Да и она, Вера Павловна, тоже, кажется, без-

мерно удивлена тем, что еще живо и молодо ее сердце и что она не утеряла способности любить с такой девической смелостью, от которой у него кружилась голова, как от дурмана.

Невысокая, хрупкая, она в свои сорок два года выглядела бы совсем молодой, если б следила за собой повнимательнее. Но Вера Павловна не любила украшать себя, уделяя внимание лишь косам, не особенно длинным, но очень плотным, тугим, придававшим ее лицу выражение особой энергии и силы. Она терпеть не могла моды на завивку и локоны, называя их «метелками» и «вениками», и предпочитала всем новшествам спокойный пробор и крендельки на ушах, — манеру, в которой причесывались лет пятьдесят назад.

Прическа, должно быть, немного старила ее. Не молодили и платья, всегда простые, скромные, без затей, и низкие каблуки туфель, делавшие длинными ступни ног и некрасивой — походку.

И все же, несмотря на недостатки внешности, Вера Павловна считалась молодой женщиной, хотя сама она давно уже отстранила от себя все женское. Потеряв под Сталинградом мужа, она посвятила себя дочери. Та кончала десятилетку, мечтая об историческом факультете, и обе они,

мать и дочь, уже всерьез подумывали, в какой именно институт подадут они заявление, как переедут отсюда на север и поселятся обязательно где-нибудь на краю города, где можно будет развести огород.

И вот к ним, в маленький южный город, приехал лечиться друг покойного мужа — даже не друг, а скорее знакомый — Сергей Иванович Устюжанинов. Он был намерен переселиться на юг и охотно поменялся бы площадью. Раз или два он зашел к ним именно по этому делу, затем они заговорили о покойном муже Веры Павловны, о том, как они с Устюжаниновым когда-то работали в Средней Азии, орошали пустыни и дрались с басмачами, и вдруг как-то получилось, что он уже почти не покидал по вечерам двух крохотных комнаток Веры Павловны, помогал Ане готовить уроки, ходил с ними в кино, провожал Веру Павловну в библиотеку, где она дежурила вечерами, а если обе они отсутствовали, он сидел в городском саду перед окнами их квартиры и с утомительным упорством ожидал возвращения хозяек.

Дом, где жила Вера Павловна с дочерью, восстанавливался по частям и был еще наполовину пуст, темен, не прибран. Но комнаты, выходящие

окнами в тихий угол городского сада, были чудесны своей поэтичностью. Старые, узловатые глицинии вились по каменным стенам сплошным змеиным выводком. Весною стена была серебристо-фиолетовой и чудесно благоухала. Осенью пряно пахнущие шаровидные буксусы и мушмула, до зимы распространяя сильный запах ирисных конфеток, создавали в этом углу свой особый воздух, необычайно покойный и немного грустный. Иногда сюда долетала из театра музыка, смех гуляющих; иногда отважная пара объяснялась у самых окон, и чужая тайна, выданная неосторожно громкой фразой, оставалась в их комнате, как залетевшая бабочка.

Вчера Аня уехала на сутки в экскурсию, и, проводив ее до автобуса, Устюжанинов сразу же вернулся к Вере Павловне.

Была середина осеннего предпраздничного дня.

Солнце, по которому то и дело лениво проползали длинные облака, светило неярким, как бы в сторону обращенным светом, но день тем не менее казался торжественным, праздничным.

В воздухе стоял темный багрянец кленов, платанов, буков и тополей. Казалось, солнечный блеск пленен их листьями и впитался в них, и

светит или не светит солнце — а он будет сиять и рдеть на деревьях даже в лунную ночь.

После обеда они долго гуляли в саду и, едва передвигая ноги, вернулись к чаю. Она почти засыпала. И вдруг… да разве припомнишь, с чего начался и как потом развился разговор о том, что… о том, что… о том, что нужно жить как можно полнее. Да, разговор коснулся именно этой темы, но тотчас скользнул с нее в сторону, и теперь уже никогда не восстановить в подробностях, что произошло перед тем, как он, замолчав, опустился на колени перед Верой Павловной и, боясь, что это ужасно смешно, нелепо и совершенно глупо, сказал ей дрожащим от счастья голосом:

— Вера Павловна, я люблю вас…

Что она ответила ему? Ах, неважно. Да она, кажется, ничего, собственно, и не ответила, а взяла его голову своими нежными ловкими руками и как бы навсегда сняла ее с плеч.

— Как и за что меня можно любить? — услышал он потом. — Я ведь не молода. И потом — Аня уже взрослая девушка… — И, говоря это, она, словно не понимая, что делает, прижалась к его губам своей горячей щекою и потерлась ею о его губы.

Он не запомнил себя, своих поступков, своих

движений. Ему запомнилась она, и только по ее поступкам мог он догадываться о своих.

Электричество в тот день зажглось поздно, но и без света, в густой тьме комнаты, он видел все, что хотело видеть его сердце. Когда вспыхнул свет, они, как ни странно, этого даже не заметили. Разве его не было раньше? И разве в безответственной темноте поцеловал он ее глаза, теплые и пушистые, как пчелы? Все может быть.

Одному лишь удивлялся он несказанно — тому, что оба они вдруг замолчали и изредка перешептывались словами, почти не имеющими никакого значения, но необходимыми им для выражения счастья.

Потом свет опять погас, и светлая ночь прильнула к окну. В комнату заглянула ветвь мушмулы с дремлющей на ней синичкой. Вера Павловна поднялась с дивана и неслышно скользнула в соседнюю, Анину комнату, оставив его одного.

Он прижал руки к груди и весь обратился в слух, следуя за шорохом ее быстрого бега на цыпочках за стеною.

Вот она приблизилась к окну, слегка зацепив в темноте платьем за край стола. Вот отстранила рукой темную занавеску и осторожно, боясь вспугнуть тишину, приоткрыла окно в еще тем-

ный, непроснувшийся сад.

Напев дождя ворвался в дом.

Что теперь делать? Уйти? Или остаться? Пойти ли за нею и послушать, как бьется ее захлебнувшееся радостью сердце? Или навек попрощаться с этим домом и никогда не показываться ей на глаза?

Но куда и зачем уходить от счастья, найденного так неожиданно, как находят клады? А может быть, она не захотела оставить его у себя и, убежав в другую комнату, подсказала, что и ему следует удалиться, ибо то, что произошло, было делом случая, не имеющего права на повторение?

Но стоило ему задать себе этот вопрос, как он почувствовал, что никуда не уйдет, не может, не должен уйти, что такие случаи для того и существуют в жизни, чтобы оставаться в ней навсегда.

Он тоже раскрыл окно, но не выглянул, а остался в тени гардины. Прохожий дождь, хлопотливо постукивая капелью, заканчивал свою предрассветную работу. На востоке, за садом, уже яснело.

Произошло что-то такое большое, что не вмещалось в ночи, а требовало всей жизни. Устюжанинов подтянулся на руках на подоконник и соскочил в сад, оглядываясь на окно Аниной

комнаты.

Она стояла, закутавшись гардиной, и только одно ее взволнованное лицо рисовалось в квадрате окна.

— Ты куда? — далеко слышным шепотом спросила она и улыбнулась.

Он понял — что за нелепость уходить! Вся жизнь здесь, в ее руках.

— Помечтать!

— Без меня? Один? — в голосе ее был шутливый упрек.

— Иди ко мне, — сказал он, — встретим утро.

Она быстро сбросила с плеч гардину, но остановилась в нерешительности.

Сейчас, когда было светлее, чем ей хотелось, неясный стыд невольно охватил ее и задержал у окна. Ей не хотелось бы выглядеть смешной. Может быть, ее уставшее лицо требовало отдыха в темноте?

Ведь только молодости простительна небрежность… Ну а любви разве не простительна?

Разве этот немолодой, далеко не изящный человек, с грубоватым лицом и огромного размера улыбкой, занявшей все его лицо, хотевшее быть серьезным, — разве он не самый близкий на свете?

И разве он не прекрасен уже тем, что близок ей, что принадлежит ей, что нужен ей, как и она ему?

— Скорее, — повторил он, следя за тем, как она задумалась. — Сейчас рассветет. Иди же!

Она вскочила на подоконник и озорно, по-девичьи, блеснув ногами в воздухе, побежала ему навстречу, доверчиво давая разглядывать и лицо, и свою фигуру, и свою полную покорность счастью.

— Ну, как же мы будем теперь, как? — тихо спросила она, прижавшись к нему. — Ах, это до того стыдно… Ведь Аня уже взрослая девушка!..

Он, не в силах произнести ни слова, молча гладил ее волосы.

— Ах, да не в этом дело… Но как же теперь с твоей комнатой? — шептала она, пробуя вернуться к дневным заботам. — Может, ты теперь не захочешь меняться? — тихо смеялась она. — А ты будешь любить ее, правда?.. Не комнату, а Аню… Да?

— Нас теперь трое, — сказал он. — Ты слышишь? Трое. Огромная семья… Мы с тобой останемся, а Аня уедет, будет жить у меня.

— Но я должна буду ее проводить… Заодно посмотрю, как ты жил…

— А я буду у тебя хозяйствовать и скучать…

— А книги твои — ты их оставишь там? Или привезешь?

— Книги? Надо бы Ане оставить… Как ты думаешь?

— Я думаю, лучше оставить ей. Тебе не жаль?

Тихонько капало с дерева на гравий, будто кто-то прыгал вдали по лужам. Зашевелились деревья. Птицы раскачивали их ветви, и деревья шумно отряхивались, как куры после дождя.

Багряно-желтые и рдяные румянцы сада сияли, будто солнце уже давно взошло. Лимонно-желтые листья, рассеянные по аллеям, были похожи на задремавших солнечных зайчиков. Легкий ветер красиво перегонял их с места на место.

А на востоке, в узкую розовую прорезь, будто сделанную острым ножом на серо-мглистой мякоти облачного неба, бил яркий, резкий, торжествующий свет.

Он был полон цветения и окрашен в пронзительные краски, каких не бывает ни весной, ни летом. Он был оголен, как вынутый из ножен меч.

Они стояли лицом к заре. Она сначала коснулась их ног, скользнула по фигурам и потом быстрым движением обдала их лица мимолет-

ным румянцем, точно смутив.

День начинался чистый и солнечный, как всегда в середине осени, известной в наших местах своим постоянством.

1947

Надежда Лухманова
(1844–1907)

Один

Осенняя ночь, — холодная, хмурая, полная невыплаканного горя, — кралась по нему и медленно длинными, грустными сумерками обволакивала город. По небу неслись бугристые темные тучи, догоняли друг друга, сливались, таяли и снова, разорвавшись на клочки, летели в неведомую даль. Маленькие, бледные звезды глядели на землю, мигая, как выцветшие, усталые от бессонных ночей глаза. Сухой, холодный ветер гнался за прохожими, карикатурные тени которых резкими, черными штрихами рисовало электричество по широким тротуарам. На Думе гармонично и гулко часы пробили одиннадцать.

На углу Большой Морской, в роскошной квартире Ивана Сергеевича Палубнева, кабинетные часы тоже пробили одиннадцать и разбудили от глубокой дремы хозяина, сидевшего в кресле перед полупотухшим камином. Иван Сергеевич машинально протянул руку, взял щипцы и хлопнул ими по груде каменного угля. Столб мелких искр метнулся вверх, и на минуту яркое пламя снова охватило маленький костер. В большой квартире было тихо до жуткости: сегодня, на

какие-то именины, Палубнев отпустил и своего лакея Якова, и жену его Пелагею.

Громадный кабинет, освещенный одною электрической лампочкой под зеленым абажуром, горевшей над письменным столом, тонул в густой темноте. Диван и массивные кресла, обитые старинной кордуанской кожей, с вытисненным на высоких спинках львом св. Марка с двенадцатиконечным крестом в лапах, казались сами какими-то угрюмыми, бесформенными чудовищами. Тяжелые столы, заваленные бюстами, бронзовыми группами и альбомами, темные бархатные портьеры, этажерки, столики, темный персидский ковер придавали тяжелую, несколько мрачную роскошь кабинету.

Иван Сергеевич встал с кресла, потянулся и, заложив за спину руки, стал ходить по комнате.

Почти громадный рост, сутуловатые плечи, тяжелая поступь, густые, непокорно-волнистые волосы, спущенные вниз темно-русые усы по первому взгляду придавали Палубневу угрюмый, несимпатичный вид, но стоило пристально взглянуть в его осененные темными ресницами серо-голубые глаза, чтобы убедиться, как много чего-то прямого и детски ясного лежало в его открытом спокойном взоре, как много доброты

было в правильно-красиво очерченных губах, открывавших белые ровные зубы. Все его движения носили характер застенчивой неловкости, той осторожности, с которой очень сильные люди относятся к окружающим. Голос его, густой и звучный, подчас имел особые мягкие ноты, как у человека, умевшего скорее прощать и любить, нежели приказывать и оскорблять. Веселость его скорее выражалась блеском глаз и улыбкой, чем громким смехом и словами, и только всюду — в широком лбе, в прямой линии несколько тупого носа, в крупных губах, в подбородке — лежала печать характера и твердой воли.

Иван Сергеевич ходил по комнате, и жуткая тишина квартиры охватывала его сердце.

Вечный холостяк, без лепета ребенка, без ласки жены, и так навсегда… на всю жизнь… И что такое его жизнь? Сцепление мелких обязанностей, занятий и развлечений, составляющих в общем банальную, никому не нужную жизнь; уйти — и даже пустого места за собою не оставишь! Никому не нужен, никому!..

В прихожей тихо, трепетно прозвучал колокольчик. Палубнев как шел спиной к дверям, так и остановился как вкопанный, с расширенными зрачками и бьющимся сердцем. Неожиданный

робкий звон колокольчика испугал его. Резкий, отрывистый звон возвещает пожар, телеграмму, нежданно смелого гостя, словом — призыв к жизни, борьба или оборона, а этот еле слышный трепетный звон казался ему рукою судьбы, которая вдруг, неожиданно стучалась в его дверь.

Минуту все было тихо. Палубнев обернулся и, бледный, прошел в прихожую, где ярко горела стенная лампа.

В ожидании он прислонился к стене. Ему казалось, что по ту сторону двери он слышит чье-то порывистое, испуганное дыхание. Он глядел на колокольчик; вот он снова дрогнул, сперва беззвучно, еле колеблясь, затем язычок ударился о чашечку и жалобно, трепетно звякнул несколько раз.

Иван Сергеевич, волнуясь, неловко двинул дверной крючок, щелкнул ключом и открыл дверь; перед ним стояла стройная, высокая женщина, вся окутанная в черное. Поднятый высокий каракулевый воротник-медичи стоял выше ушей, на голове такая же шапочка с круглым верхом — с двумя крыльями Меркурия, прижатыми по бокам. Густая траурная вуаль падала с ее лица прямыми складками.

Иван Сергеевич не мог ее разглядеть, но хорошо

знал, что перед ним «она». Он отступил в прихожую, она перешагнула порог комнаты. Минуту оба стояли друг против друга, оба с опущенными глазами, не смея ни шевельнуться, ни сказать слова; затем он сделал неопределенный жест по направлению кабинета, она приподняла вуаль и прошла туда, а он запер двери на ключ, на крюк, методично, обстоятельно, и затем вернулся.

Когда он вошел, она стояла перед камином и, очевидно, грелась.

Он спросил:

— Вам холодно? — и подвинул ей кресло к самому огню.

— Да, я озябла, ветер… — тихо проговорила она, села, протянула вдоль колен стиснутые руки и подняла на него глаза.

Он машинально опустился на кресло против нее и, не моргая, жадно впился в нее глазами.

Муж и жена встретились после двухлетней разлуки, и оба не имели сил заговорить.

Он снова начал первый:

— Вы давно приехали?

— Три дня… В эти три дня я шесть раз была у вас, но не решалась звонить.

— А сегодня?

— Сегодня позвонила, — я узнала, что вы од-

ни…

— А!.. Вы надолго… сюда?

— Я?.. навсегда.

Снова наступило тяжелое молчание.

— Я приехала одна… — спазм сдавил горло говорившей, — он… меня бросил.

Иван Сергеевич откинулся на спинку кресла, рука его сделала жест, как бы говоря: «Зачем вы мне это говорите?» Она сидела все в той же покорной и усталой позе, откинутая вуаль ее открыла красивые, неправильные черты, бледное овальное лицо, на которое всюду со лба и щек лезли пепельно-белокурые волны волос, страшно грустные карие глаза ее глядели на мужа, и в них начинало теплиться чувство робости и надежды при виде его, как казалось ей, все прежнего лица.

— А ваш… ребенок? — процедил он несколько глухо, но спокойно.

— Умер… Я одна, совсем одна. Измучилась, устала и решилась прийти к вам!

Она сняла с правой руки перчатку, вынула носовой платок и провела по лицу. Прежний знакомый аромат белого ириса дошел до Ивана Сергеевича, и снова сердце его, как сжатое чужой рукой, забилось нервно и сильно до боли.

Перед ним была несколько похудевшая, как бы одухотворенная женщина, та самая, которую он пять лет тому назад привез сюда, в эту квартиру девушкою. Как он любил ее жадно, безумно, благоговея перед ее грацией, изяществом, наивною веселостью, любил до обожания! Мало того, он верил, что и она его любит. Никогда не видел он ни в одном ее жесте, не слышал ни в одном звуке усталости или нежелания отвечать на его ласку; напротив, она всегда ждала его, бежала навстречу при первых звуках колокольчика, при первом шорохе его шагов; после каждой короткой разлуки она бросалась ему на шею и прижималась к его груди, обвивалась, ловя губами идущие к ней поцелуи. Он видел, как в глубине ее темно-карих глаз с желтоватою искрой загоралась страсть, зрачки ее расширялись и она смотрела на него влажными, совсем черными глазами. И вдруг все рушилось! Быстро, страшно, просто и безвозвратно, он потерял ее, как умирает человек, сраженный грозою, не поняв даже — откуда налетел удар…

Это было зимою, на третий год после их свадьбы. Они ехали на бал, где Палубневу надо было встретиться с весьма нужным и высокопоставленным лицом. Евгения Павловна — вся в белом,

душистая, нарядная, закутанная с головою в какую-то кружевную пену — вдруг почувствовала головокружение, затем страшную боль в висках, разделась, легла в кровать и стала умолять мужа ехать одного, не терять случая устроить завязывавшееся дело. Иван Сергеевич послал за доктором, доктор констатировал простой мигрень, прописал облатки и часа на два спокойствия. Нежно простившись с женой, Иван Сергеевич на цыпочках вышел в прихожую и уехал, сделав тысячу наставлений Лизе, любимой горничной жены. Приехав на бал, он узнал, что ожидаемая им особа не будет. Послонявшись из приличия с четверть часа по залам, он незаметно скрылся и вернулся домой. На его тихий звонок ему долго не отпирали; испуганный, он звонил громче, громче, и, наконец, когда он готов был уже бежать обратно к швейцару и поднять тревогу, дверь распахнулась и пред ним стояла бледная, перепуганная Лиза, которая, заикаясь, доложила ему, что барыни нет дома, — они уехали кататься, рассчитывая, что холодный воздух поможет им. Сначала ошеломленный Иван Сергеевич ничего не понимал, он делал нелепые вопросы, получал глупые, сбивчивые ответы, затем замолк, прошел на черный ход, запер там

дверь на ключ и положил его в карман, прошел на парадную, сделал то же самое и, убежденный, что теперь никто не выйдет из квартиры, ушел на улицу — ждать жену.

Он стоял за углом дома, откуда ему ясно было видно и улицу, и пересекавший ее переулок. Он ждал тупо, бессмысленно, почти без боли, считая извозчиков, следя машинально за маленькой рыжей собачонкой, очевидно, потерявшей хозяина и теперь со страхом и надеждой бросавшейся обнюхивать каждого прохожего. Он не чувствовал ни холода, ни усталости, не сознавал летевшего времени, не сторонился от дворников и прохожих, глядевших ему прямо в лицо. Но вот он услышал шум экипажа, приближавшегося с Кирпичного, и сразу, всем существом почувствовал, что это едет она. Он перешел на другую сторону и глубоко вдался в противоположный чужой подъезд. В санях, запряженных высоким, темным рысаком, сидели двое: мужчина, которого он сразу узнал по его военной форме, и — она.

Сани остановились в переулке, дома за три до подъезда; он видел, как офицер, сидевший в санях, обнял ее, прижал к себе и поцеловал, он слышал тихий взрыв смеха. Она сошла и пошла пешком, огибая дом; сани ехали шагом, следя за

ней. Что было дальше — он ясно никогда не мог себе представить: какая-то сила выкинула его из подъезда… он, кажется, ударил… кого?.. ее или его, выскочившего из саней… и… они уехали… А он?.. Он тоже вскочил на извозчика, ехал, потом бродил где-то пешком и вернулся домой на другой день… Она не вернулась вовсе. И вот теперь, после двух лет, когда рана не затянулась даже свежей кожей, она сидит перед ним здесь, опять у него, в их прежнем, разбитом ею, опозоренном гнезде.

Взгляды их встретились, в ее темно-карих глазах лежало что-то новое; ему показалось, что оттуда, из этих черных зрачков с желтоватыми искрами, на него глядела тень ее прошлого, прожитого с другим или с другими.

— Сегодня очень холодно, — снова начала она, — я шла издалека.

— Вы далеко… остановились?

Она назвала одну из окраинных улиц. Опять разговор упал. Она огляделась кругом. Грудь ее широко, свободно вздохнула, как у путника, достигшего, наконец, отдыха. Две слезы наполнили глаза и медленно, незамеченные ею даже, скатились по щекам.

Он теперь глядел на ее шляпу, черное платье,

кончик ботинка — и сердце его сжалось: на всем, несмотря на элегантный покрой, виднелась печать времени, нужда лоснилась из шелковых складок, говорила из потрескавшейся помятой кожи сапожек.

— Я не видела вас два года, вы были все время в Петербурге?

— Нет, я путешествовал. Впрочем, я встречал вас, первый раз в Бадене… в тот день, как я уезжал уже, — быстро прибавил он, — раза три здесь; но давно уже. Весною, проходя по Итальянской… я сквозь окно магазина увидел ваш профиль… вы покупали что-то, я долго следил за вами… не мог оторваться, — оправдывался он.

Она слабо вспыхнула.

— Потом вы сели на извозчика и уехали; затем я встретил вас в Михайловском театре, вы были в ложе…

— А вы?

— Я ушел в самый верхний ярус, куда вы не могли поднять глаз, и оттуда любовался вами.

Под влиянием его слов она вся теплела, оживлялась, тень улыбки скользнула по ее красивым губам.

— Как здесь хорошо, уютно… все по-прежнему?

— Почти все.

Она снова вспыхнула. Там, по ту сторону коридора, шли их спальня, будуар и маленькая, круглая гостиная, вся утопавшая в коврах и полусвете, их интимный «hom», куда они не допускали никого из чужих.

— Вот я и отогрелась… как хорошо! Вы знаете, — она мило улыбнулась и опустила глаза, показав ему два ряда длинных, пушистых ресниц, — я с утра ничего не ела…

Он вскочил с места.

— У меня люди отпущены сегодня… ведь я по-холостому… Сейчас все, что найду!

Он быстро вышел.

Она следила за его шагами. Как ей хотелось бы бежать за ним, как прежде, туда, в их столовую!.. Вот хлопнули дверцы комнатного шкафа-ледника, он достает, видимо, приготовленное «en eas», теперь берет посуду, вот открыл шкафик с вином. Как слепой, долго живший в одной и той же обстановке, она по слуху могла определить каждый его шаг, каждое движение.

В волнении она приподнялась, чтобы идти туда, за ним; ее желанием руководил не голод, но желание скорей войти в обыденную колею прежней жизни.

Подойдя к каминному зеркалу, она привыч-

ным, ловким движением поправила волосы и, зная, что он еще там, вынула из кармана крошечную пуховку, провела ею по лицу. Он шел. Она снова опустилась в кресло, но он шел не за нею, а, напротив, нес ей в руках поднос, уставленный всем, что нашлось дома. Ей не понравилось это, но она только печально улыбнулась и помогла ему поставить все на маленький столик.

Иван Сергеевич налил два стакана вина, Евгения Павловна взяла вино и машинально, как человек, привыкший пить его в ресторане, подняла бокал вверх и посмотрела цвет, затем отпила несколько глотков. Ни этот новый для нее жест, ни манера пить не ускользнули от внимания Палубнева.

Откинув кружева рукавов, молодая женщина грациозно резала холодное мясо и ела маленькими кусочками; она попробовала икры, еще выпила несколько глотков вина.

— Я так волнуюсь, — заговорила она, отодвигая от себя прибор, — что не могу есть. Мне так хотелось, вот здесь, возле вас снова съесть кусок хлеба. Мне казалось это хорошим предзнаменованием.

Он улыбнулся.

— Как у арабов; у них считается всякий чужой врагом до тех пор, пока не разделил их пищу.

— Если бы вы знали, как ваш прием, ваши слова, все, все, трогает меня. Я так боялась прийти…

— Почему же, разве вы не подумали, что время излечивает все раны?

— Нет, время наносит раны… Я измучилась…

И она вдруг начала рассказывать свою жизнь за эти три года. Это не была любовь, это был какой-то гипноз, кошмар, и притом с ее стороны, своеволие, жажда свободы, страшное желание поиграть с огнем.

О, только поиграть! До этого рокового вечера, когда ей пришлось бежать от своего дома, между ними не было ничего… ничего, кроме флирта. Но когда она поняла, что он обвиняет ее, что ни выхода, ни оправдания нет, она испугалась и бежала к нему. О, как она страдала первое время!.. Потом она примирилась. Не полюбила, о нет!.. Потом был ребенок, а там пошло охлаждение, горе, смерть малютки, разорение, у него были долги… разлука… и вот она одна и… пришла.

Все это она говорила гладко, хорошо, местами с чувством, глядя ему в глаза и читая в них искреннее, теплое сожаление. Она ждала слова, но он молчал… молчал. Молчание длилось долго и становилось мучительным. Слезы теснили ей грудь. Ей становилось душно, а он все молчал…

— Иван Сергеевич… Ваня… — робко, тихо начала она.

Он вздрогнул.

— Поздно, уже час, вы сказали, что живете так далеко.

Растерянная, испуганная, она встала.

— Я думала… я надеялась… ведь я говорю вам…

— Да, знаю, мы, конечно, еще увидимся с вами, но знаете, за эти два года у меня образовалась чисто старо-холостяцкая привычка: я всегда в 12 часов уже в кровати.

По мере того как он говорил, она бледнела, зрачки ее расширились; она не знала, как понимать его слова, что делать теперь, как держаться, а он уже глядел на нее просто, твердо и держал в руке ее тальму, которую она сняла, когда села за стол.

Она вышла в прихожую, надела пальто, он отпер входную дверь, и все так же машинально, как во сне, она вышла, сказав ему «до свидания», и слышала, как за нею заперлась дверь, щелкнул ключ и лязгнул дверной крюк.

Иван Сергеевич вошел обратно в кабинет и остановился на пороге. Теперь все случившееся казалось ему сном, но сон этот подействовал на него благодетельно; он чувствовал, что кошмар кончен, чары разрушены. Он проснулся, и жизнь

живительной, обновляющей струей входила снова в его потрясенный организм.

Два года он страдал невыносимо, эту женщину судьба вырвала из его рук внезапно, в самый разгар любви и страсти. Если бы она скоропостижно умерла на его руках, под его поцелуями, он был бы менее несчастен, менее потрясен; но потерять ее живую, отдать самому в руки другого, отказаться сразу от всего, во что верил, проклясть все, чему молился, — это было что-то ужасное, непостижимое… Мозг его был парализован, смысл жизни потерян…

Первое время он ждал, что она вернется; он готов был все простить ей, всему поверить, он даже стал сомневаться в том поцелуе, который видел… Потом он долго жил слухами о ней, тайными встречами с ней. Вопрос о том: «За что?» — не давал ему покоя; он ломал себе голову и не мог добиться причины. Иногда ему страшно хотелось пробраться к ней и умолять ее, чтобы она только объяснила ему, отчего она изменила ему, — за что? Потому что измены — так, без всякого повода, безумной бравады, мгновенного физического каприза он не мог понять.

Затем, когда он узнал о рождении ребенка, он снова затосковал; ему казалась измена ее чисто

патологическим явлением: природа в ней требовала удовлетворения материнскому инстинкту. Два года его страстные ласки оставались бесплодны — и она перешла в объятия другого. Потом он надолго потерял ее из виду. И вот теперь она явилась к нему, и в ее глазах — позор, в интонации ее голоса он, как в открытой книге, прочел эти два года, проведенные ею «на свободе». Он понял, что чувство его отболело, рана закрылась и что она — чужая ему. Та мистическая связь, которая хранилась между ним и ею, — разлука, вдруг исчезла, та память страсти, которой горело его тело, ослабла сразу, как только он понял, что преграды больше между ними нет и что сегодня же, сейчас же она снова могла бы принадлежать ему, как принадлежала другому.

Словом, все внезапное, страшное, раздутое потрясенными нервами, связанное страданием ревности и неизжитой еще страсти, вдруг стало простым, пошлым эпизодом из жизни безустойной, цинично смелой женщины.

И он понял одно: простить можно, но забыть нельзя!

Машинально он подошел к окну и глядел в него сквозь тяжелую портьеру, как будто мог что-нибудь разглядеть. Напряженные нервы обострили

все его чувства; ему казалось, что он слышит, как на улице воет и бьется ветер, как, набрав сырой изморози, бросает ею, как горстью песку, в зеркальные стекла, и вдруг, ясно, как наяву, перед ним развернулась перспектива длинной улицы, ряд тускло сквозь непогоду мерцающих фонарей и тонкая женская фигура; высокий каракулевый воротник высоко поднят, над ним густой узел пепельно-светлых волос и два крыла Меркурия, как бы уносящих эту женщину туда, в беспросветную даль…

Жалость страшной болью сжала ему грудь, зубы стиснулись, и слезы одна за другой покатились на густую бороду, и все-таки всем существом своим он понимал, что не может вернуть ее, как не могут вернуться к нему иллюзия и вера.

1896

Пантелеймон Романов
(1884–1838)

Осень

П. С. Бутовой

I

Опушки желтеют. И листья с тихим печальным шелестом опадают на свежезеленые озими, на грязь разъезженной лесной дороги.

Брат — в своей бараньей охотничьей шапке, похожий на черкеса, — стоит на дворе и поглядывает то на небо, то на собак. Покручивая свесившийся вниз черный ус, он оценивает охотничье утро.

Оно — самое лучшее. Небо ровно-серое, однообразно-унылое. В воздухе тепло и тихо. От леса пахнет только что свалившейся вянущей листвой и тонкой сыростью осеннего утреннего тумана.

— Славно! начинать можно!

Брат бодро хлопает плетью и повертывается к Маше. Черные глаза его весело блестят. А она стоит у столбика черного крыльца, покрывшись большим платком, и следит за каждым его движением.

Лицо Маши из-под накинутого на голову плат-

ка кажется таким печальным и милым в своем тревожно-внимательном выражении, с каким она смотрит то на брата, то на небо.

Маша уж знает, что теперь он забудет о ней.

Пришла осень, и на поля опустились утренние туманы. Лес по-осеннему стал грустно-неподвижен. Поля молчат… И все молчит. Изредка только выскочит на опушку заяц, приложив ухо, и опять уйдет в лес, осторожно зашуршав листьями.

Собаки, почуяв свою охотничью пору, каждое утро визжат у крыльца и просятся в поля, среди которых затерялся хутор. Он весь спрятался в деревьях, только белая труба да окна с белыми рамами до половины глядят из-за густой, еще зеленой сирени.

Брат, сдвинув шапку назад и взяв собак на свору, уедет теперь на целую неделю, а Маша будет сидеть в своей комнате у окна с березой, терпеливо ждать и, наклонившись, шить что-нибудь.

Будут долгие осенние вечера. Ветер холодный на дворе будет шуметь. Облака черные, осенние будут идти. А ночи станут темные и холодные…

II

Уехал. Бубенчики уж едва слышны. Маша все стоит на крыльце, у столбика, и смотрит вслед. А

он даже и не оглянулся.

«Ну, чего ей смотреть, — думаю я, — ведь он уж мостик переехал и его не видно совсем. Точно она одна здесь остается!»

Мне что-то обидно, и я, надев свою курточку, ухожу один бродить по опушкам.

Прислушиваюсь к осенней тишине леса, к пышному шороху нежно-золотой листвы, которая закрыла редкую, сухую лесную траву. И говорю тихонько:

— Осень пришла.

Все опадает. Все уныло — и в лесу, и в опустевших убранных полях.

Ветер передувает по дорожкам опавшие листья и кружит их.

Есть в этом что-то бесконечно грустное, и хочется присесть где-нибудь на бугорке и смотреть на усадьбы. В особенности вон на ту, что внизу, в парке, за прудом, и с зеленой крышей. Я все чего-то жду, когда прихожу сюда, на откос, и смотрю на нее, запахнув поплотнее от ветра курточку.

Вижу я отсюда запертую теперь к осени купальню, обтянутую парусиной, скамеечку в аллее и даже березовые жердочки, положенные от парка через ручей.

А кажется мне, что и эта осень пройдет для

меня так же бесследно, как всегда, как все… И становится грустно и досадно.

И чего так разрядились эти осины? Совсем багряные! Ведь все равно это так пройдет. Облетят листья… Облетят, а все чего-то ждешь. И тысяча различных мыслей приходит мне в голову, таких хороших и грустных, как эта унылая красота умирания, как эти опустевшие и побуревшие от дождей бесконечные поля.

Если мне дома грустно и одиноко, то ведь могу же я сюда приходить! И я прихожу, сажусь на пенек и, подперши щеку рукой, смотрю на ту усадьбу.

Видел я один раз там чье-то женское платье и белый шарф, который носят молодые женщины.

Платье мелькнуло и скрылось за деревьями; а я с забившимся сердцем вскочил и ждал чего-то.

Чего ж я ждал? Конечно, ждать нечего. Нечего, а все-таки сидишь и думаешь об этом платье и белом шарфе.

«Что ж, — думаю я, — бывают всякие случайности. Вот я здесь. И вот береза у меня на дороге. Разве думал я, что встречу ее когда-нибудь. Так и это. Все может быть, все может случиться. Хоть и скоро мне ехать отсюда. Быть может, никогда, никогда не увижу я больше ни белого шарфа, ни

того с подгнившими перилами мостика, через который я поеду отсюда, ни тех жердочек березовых».

III

Мы одни с Машей на хуторе. Вечер холодный, темный. Совсем по-осеннему. Хочется зажечь поскорее лампу и сидеть около огонька. Окна слезятся и дрожат от ветра. А печи не топлены.

Маша только что пришла со двора, и щеки у нее холодные, свеже-розовые, а глаза темные и блестят. Так всегда бывает с холода. От нее пахнет свежестью и осенью. Она в светленькой кофточке с перламутровыми пуговичками и в беленьком платочке.

Маша сидит в своей комнате у окна с лампой на рабочем столе и, наклонившись, шьет. На этом столе все мне знакомо: и подушечка с воткнутыми в нее иголками и булавками, и зашитый кирпич, и слабые, размоловшиеся на винте, ножницы.

Я хожу по комнате, прислушиваюсь к шуму осеннего ветра за окном, изредка взглядываю на Машу и все думаю о том белом шарфе.

— Маша, у тебя щеки розовые, — говорю я.

— Это с холода, — говорит Маша.

Да, вон дело-то куда пошло; щеки уж стали розоветь с холода.

Я опять хожу от окна до шкафа и думаю об осени.

Нагонит она, пожалуй, морозов. Не удержатся тогда листья на деревьях, облетят все. И те, багряные.

— А кто живет в этой усадьбе с парком, за прудом? Это вот где жердочки.

— Помещица одна молодая, — говорит Маша. — Почему вы спрашиваете?

— Так, Маша, просто пришло в голову, — говорю я и иду к ней.

Мы сидим вместе. Ветер осенний шумит. Лампа отражается в темном стекле.

В Маше есть какая-то милая целомудренная простота и задушевность. Она сейчас накинула на плечи свой теплый платок, и так хорошо от ее присутствия, от ее домашнего теплого платка на плечах.

— Хорошо так? — говорит она мне просто и доверчиво.

Она держит на коленях узор и издали любуется работой.

Я подхожу к ней и, чтоб лучше рассмотреть, наклоняюсь к работе. Наши головы совсем близко

друг от друга.

— А как ее зовут? — спрашиваю я.

— Кого? — говорит Маша и, сейчас же вспомнив, спокойно говорит: — Ольга… Николаевна, кажется.

Скоро Маша ложится спать, огонь у нее в комнате гаснет, дверь тихонько изнутри притворяется, и я слышу легкий скрип деревянной кровати. Я почему-то с волнением прислушиваюсь к этому скрипу и, забывшись, зачем-то повторяю:

— Ольга…

IV

Так вот оно какое платье-то, вот он какой белый шарф-то!

Я сейчас стою здесь, на откосе, смотрю на примятую, редкую, сухую траву, где мы сидели только что, на жердочки вдали, через которые я проводил ее, и не хочется мне уходить отсюда.

Вот и встреча, хоть и нечаянно. И совсем просто, так что нечего об этом и рассказывать.

Ей 28 лет. Столько же, сколько и Маше. У нее бархатная кофточка и полная молодая грудь, глаза глубокие, напряженные, и около губ родинка.

Есть у нее какая-то тоска. О чем — не могу понять.

Как будто ранена ее душа чем-то глубоко. И рана эта болит, когда что-нибудь *напомнит* ей, что-нибудь вернет ее к какому-то ее прошлому счастью.

И часто, глядя на ее устремленные куда-то вдаль печальные глаза, хочется мне узнать о ее печали и сказать ей что-нибудь или утешить.

Не знаю в чем, а есть какое-то сходство у нее с Машей. Да, должно быть, в том, что обе они молодые женщины и в них обеих есть то неуловимое, нежно женское, чего мне так хочется осенью.

И думаю я: что ж ее так поразило, когда она увидела меня и узнала, что я брат их соседа? Она почему-то смотрела на меня несколько времени неподвижно.

— Так вот как... — сказала она, покраснев, и прибавила: — Это так неожиданно. Вы чем-то очень, очень *похожи* на своего брата, но в то же время вы совсем другой... Покажите мне ваши глаза, — сказала она вдруг.

Я повернул к ней лицо, а она долго глядела мне в глаза.

— А глаза голубые, — говорит она задумчиво.

«О чем-то она тоскует, — думаю я, — не стала бы она так смотреть».

И теперь на тысячу ладов представляю я себе ее

глаза, ее полную женскую грудь и тонкую цепочку на открытой шее, под завитками волос.

«Надо идти, — говорю я себе, — уж ночь. Пока дойду, Маша спать ляжет, беспокоиться будет».

Вот ночи-то какие стали!

V

В нашем домике темно. Шумит в березах холодный ветер. Черные осенние облака идут.

Я отпираю сам дверь. Маша из своей комнаты окликает меня. По звуку ее голоса я чувствую, что она раздета, лежит уже в постели и сейчас, приподнявшись на локте, тревожно прислушивается.

— Это я, Маша, — говорю я.

Иду в свою комнату, потом, постояв несколько времени один в темноте, вхожу к Маше.

Нужно мне хоть кому-нибудь рассказать что-то важное, что случилось со мной. А Машино ровное дыхание, белизна ее женской постели, которую я видел и теперь представляю себе, наконец, то, что она знает *ее*, — все это привлекает меня. Тем более что есть в женственности Маши что-то похожее на ту, о которой я думаю. Вот ее подушка, вот теплая сонная рука с полным нежным плечом под тонкой сорочкой.

Маша вскидывается от сна и несколько времени тревожно молчит. Я сажусь на край постели. Маша испуганно натягивает на себя одеяло до подбородка.

— Маша, голубчик, я пришел тебя спросить, рассказать. Ты завернись в одеяло.

Я сам помогаю ей, завертываю ее в одеяло и подтыкаю края, чтоб не дуло, и начинаю рассказывать все, все.

Маша сначала тревожно и настороженно дышит, но потом успокаивается. Я даже глажу ее открытую руку, и мне так хорошо оттого, что я могу трогать ее руку, гладить плечо, и это ее не пугает, и она не может заподозрить во мне дурных мыслей. Мне даже хочется сделать что-нибудь еще большее, чтобы Маша увидела, насколько я могу быть близок к ней и в то же время далек от всяких дурных мыслей.

— Ветер-то какой шумит за окном, ночь-то какая холодная! — говорю я Маше. — Очень ты любишь брата?

— Да, — отвечает Маша тихо.

— А какой он иногда суровый. И ты не боишься его?

— Боюсь, — говорит Маша.

И говорим мы с ней до рассвета. Я ощущаю око-

ло себя целомудренную, мягкую женственность и в ней чувствую женственность и невыразимую прелесть той, которой нет здесь, но о которой я думаю.

Ветер в березах шумит, черные осенние облака идут. А в окнах уж брезжит рассвет.

День прошел. Вечером я иду из дому и вижу, как проходившая мимо двери Маша остановилась и смотрит мне вслед. Я оглянулся, а она, как пойманная, поспешно скрылась.

VI

— Вот и я! — весело говорит Ольга.

«Вот и она!» — радостно думаю я и смотрю на ее слегка полную, но легкую фигуру, идущую к жердочкам от парка.

Она раскраснелась. Этот осенний воздух такой крепкий и свежий, что вечно разрумянит щеки до того, что они горят, как от поцелуев.

Мы уж неделю знакомы и видимся каждый день! И оттого я счастлив бываю каждый день.

— Мне так хорошо сегодня! — говорит Ольга взволнованно-радостно и, глядя кругом с каким-то напряжением, сжимает руки у груди. — Так кажется хороша мне жизнь и эта осень! — говорит она и с чувством новизны оглядывается

кругом. — Посмотрите, вон наш парк, совсем желтый, золотой весь! Вон в лесу осины, совсем багряные! Пышно как… Осенью я бываю совсем другая… — говорит она задумчиво. — Ведь теперь осень и сентябрь? Да?

— Да, сентябрь, — говорю я удивленно, не зная, почему она с таким волнением выговаривает эти слова: осень и сентябрь.

— Вон откос, пойдемте туда, милый! Пойдемте! Как я рада, что встретила вас, — говорит Ольга порывисто и долго смотрит мне в глаза, как будто хочется ей что-то рассмотреть в них. А потом, отвернувшись, говорит грустно и задумчиво: — Сентябрь… Осень…

Мы долго сидим, задумавшись и прижавшись друг к другу. Я провожу своей щекой по нежному бархату кофточки на ее плече и говорю тихонько:

— Милый друг, дорогой друг…

А она как будто уже забыла про меня. Глаза ее смотрят куда-то вдаль.

— У брата глаза черные? — говорит она, повернувшись ко мне.

— Да… — говорю я, не понимая.

— Ну, мне надо идти, — сейчас же говорит она и встает.

Стала против меня и выпрямилась после долгого сидения. Ее грудь почти касается меня. Вьющиеся золотыми колечками около шеи нежные волосы совсем близко около меня. И вдруг земля у меня под ногами плывет куда-то и кружится.

— Я буду *тебя* любить… любить, мой мальчик, как самого дорогого брата, — говорит она вдруг тихо и напряженно. — Я буду приходить сюда каждый день…

Я смотрю на нее и мысленно повторяю: *тебя*… любить… *мой*…

— А глаза голубые, — говорит она сейчас же с грустной нежностью. — Голубые, — повторяет она, — а не черные…

VII

Мне сегодня так радостно! Быть может, это оттого, что сегодня день моего рождения и мне уже 16 лет. А то, что в воздухе пахнет осенью и стоит крепкий запах опавшей, сырой от тумана листвы и что береза у окна Машиной комнатки неподвижно, печально свесила свои плакучие ветки, — это еще больше увеличивает мою радость и наполняет меня новым необъяснимым желанием чего-то. И я брожу по березовой аллее

за домиком до самого вечера. И припоминаю тысячи различных мелочей об Ольге.

В окне я вижу голову Маши. Она, нагнувшись, работает. У нее уже горит огонь. Я вижу даже отсюда перламутровые пуговки на груди ее кофточки.

Я подхожу к Маше. Она поднимает голову и, увидев, что это я, улыбается и опять нагибается над работой. Я сажусь около нее.

А брата с охоты все еще нет.

И я рад этому, потому что есть мне кому рассказывать про свое новое счастье — Маше.

— Вот этот узор крив немножко у тебя, — говорю я.

Мы, склонившись вместе близко головами, рассматриваем узор, который у нее крив.

Вьющиеся золотыми колечками около белой шеи волосы почему-то приковывают к себе мой взгляд. Где это я видел такие?

* * *

Перед сном я опять выхожу на двор и долго брожу, повторяю кое-какие слова и прислушиваюсь к ним.

Огня у Маши уже нет. Я ощупью прохожу мимо ее комнаты и зачем-то трогаю дверь. Она не за-

перта и оставлена полуоткрытой.

— Ты не спишь, Маша?

— Нет, — тихо говорит Маша из темноты.

— Где ты тут? Как я тебе благодарен, что ты не заперла дверь.

— Разве я не заперла?.. Я, должно быть, забыла, — говорит смущенно Маша.

Господи, Боже мой! Да что ж такого, что на дворе ночь темная, что холод стоит, а печи не топлены! Вот ее полное теплое плечо около меня в темноте. И сама вся.

— Милая Маша, отчего мне сегодня так хорошо? Я не знаю, отчего это так. Тебя… любить… мой… Это мне сказал один человек… А тебе хорошо со мной?

— Хорошо, — тихо говорит Маша.

— И теперь ведь ты не боишься меня? Веришь мне?

— Верю, — еще тише говорит Маша.

И я рад этому. Маша совсем поверила мне. Она даже забыла затворить дверь.

— «Я буду приходить сюда каждый день!..» Это тоже сказал мне тот же человек, Маша. У меня весь день такое радостное чувство, какое и сейчас, когда я так трогаю и целую у тебя вот здесь, плечо.

Я на минутку зажмурил глаза и ясно, как живые, увидел золотые листья на опушке, завитки женских волос около шеи, родинку и черный бархат кофточки на полном и круглом женском плече.

Я провожу щекой по плечу Маши и думаю об этих завитках, о черном бархате и о золотых листьях на опушке.

— А кто сказал эти слова?..

— Какие, Маша?

— Да вот те, что вы говорили…

И я чувствую, что Маша не решается их выговорить и почему-то смущена и жалка, говоря это.

— Я знаю, кто это сказал, — говорит она, как будто сделав усилие.

— Вот здесь у тебя так же нежно, как у того человека, — говорю я Маше.

Она, притихнув, молчит.

— А вот ты, Маша, и любишь брата и боишься; разве так бывает? — спрашиваю я.

Маша ничего не говорит. Она только взяла мою руку и смущенно гладит ее.

— Тебе очень скучно и одиноко, когда он уезжает?

Маша опять молчит и вдруг, вместо ответа, обнимает меня левой рукой и в первый раз целует

меня и в голову, и в глаза. И я чувствую, что она плачет и не может сдержать слез.

— Маша, милая! Что ты? — говорю я в тревоге.

— Ничего, ничего, — говорит Маша, стараясь улыбнуться, — это сейчас пройдет.

А уже рассвет, и надо идти.

— Ну, Маша, я пойду, — говорю я, — ночь-то прошла уж.

Маша не отвечает и, сидя на постели в тонкой сорочке, тихо и нежно целует меня и в голову, и в глаза, и в щеки, так что мне и смешно, и щекотно.

VIII

Звенят бубенчики.

— Едет! Наконец-то! — кричу я Маше, которая достает что-то ложкой из стеклянной банки.

Маша роняет ложку в банку и бледнеет.

Это от неожиданности.

Маша вышла встретить его и скоро ушла куда-то. Она сегодня бледная какая-то.

Вечером, я видел, брат заходил к ней в комнатку и сказал ей что-то тихонько, а Маша вся побледнела и крепко закусила губы.

* * *

— Маша, я пойду немного пройдусь; где же брат? — говорю я и снимаю с гвоздика ружье.

Маша поднимает голову от работы и смотрит на меня долго-долго и печально.

— Вы *туда* пойдете? — говорит она чуть слышно.

Я иду и, оглянувшись на повороте в опушку, вижу, что Маша стоит у двери и печально смотрит мне вслед.

* * *

Меж старыми липами за садовой оградой, где насыпались желтые листья, мелькает платье.

Сердце бьется вдвое сильней, а щеки горят от осенней крепкой свежести.

— Куда это брат ездил? — говорит Ольга.

Она даже задержала дыхание и ждет моего ответа.

— На охоту, — говорю я. — Здравствуйте.

Она перевела дух, как будто от быстрой ходьбы или от волнения.

— Здравствуйте, милый друг.

Я беру ее под руку, мы идем на опушку и садим-

ся под березкой.

Но я не понимаю Ольги. Видит Бог, что не понимаю. И это мучительно. Иногда она ласкает мои волосы, гладит их рукой и задумчиво говорит:

— Как все проходит… все!..

Иногда возьмет руками мою голову, повернет к себе и долго, долго смотрит в глаза, как будто что-то сравнивая, и когда я подниму их на нее, она печально улыбнется мне и скажет:

— А глаза — голубые…

И отчего у нее в словах сквозит какая-то тоска? А сквозь тоску такая нежность, что хочется закрыть глаза и забыть все, все.

Но, когда я, обняв ее, хочу тихонько привлечь к себе, Ольга печально, как будто от всей души сожалея, что может этим обидеть меня и сделать мне больно, тихонько отведет мою руку.

— Ты не любишь меня, — говорю я.

— Милый, милый мой! — говорит она в порыве нежности и сожаления о том, что я что-то совсем не так понимаю.

Это ей больно. И не знает она, как с этим быть.

— Я люблю *тебя*, люблю тебя, мой мальчик, — повторяет она с силой и приближает свое лицо ко мне так близко, что я слышу тонкий запах ее волос.

— Глаза мои милые, — говорит она тихо и печально. — Голубые.

Сладкий туман начинается у меня от сердца, идет и разливается по всему телу.

— Если б я могла тебе объяснить!.. Если б я могла тебе рассказать… — говорит она. — Нет, не надо, пусть будет так, *как есть*… Только пообещай мне, дай мне слово, что не будешь меня трогать, как… сейчас ты хотел. Позволь мне ласкать твои волосы, смотреть тебе в глаза, в голубые, целовать их. Но ты будь совсем спокоен. Совсем, совсем. Обещаешь?

И я обещаю ей все. И чувствую, как впервые ее губы касаются моих глаз.

И я говорю в забытье:

— Как хорошо… Ну, еще, еще.

Голова моя лежит у нее на коленях, она, склонившись надо мной, целует меня еще и еще.

— Я всегда буду помнить тебя, мою невинную встречу. Я навсегда сохраню память о ней. Ты ведь никого не заставишь страдать? Не так, как *другие*… — говорит она со странным выражением напряженности, приближая ко мне свое лицо. — И не презирал бы ты человека, который не имеет силы быть настолько внутренне гордым (о, наружно он горд!), чтобы не думать о тех, кто

забыл про него, чтобы не искать страстно, до боли каждый намек на него, каждое сходство.

Грудь ее взволновалась, быстро поднимается и опускается.

— Ты о ком говоришь? — спрашиваю я. — О каком человеке?

Ольга молча смотрит на меня несколько времени.

— О… кузине моей Анюте, — говорит она наконец и почему-то, охладев, сейчас же встает. — Надо идти, ночь.

— Прощай, — говорю я и приближаю свое лицо к ней.

Она, не понимая, как-то отчужденно смотрит на меня.

— Можно? — тихо говорю я.

Она молча подставляет мне свои глаза.

— Почему не губы? Почему? — говорю я.

— Потому что это будет уже… *не то*, — говорит Ольга.

Она смотрит на меня и, показывая на мою руку, говорит:

— Отчего она у тебя так дрожит?

— Я не знаю, — говорю я и сам смотрю на руку.

— Да, правда, дрожит, — говорю я удивленно.

Глаза Ольги сквозь улыбку наполняются слеза-

ми, она, вдруг порывисто обняв, целует меня и в промежутках говорит:

— Милый, бедный мальчик.

И… что ж дальше? Не помню уж хорошенько.

— Нет!.. Милый, милый! Так не надо! Не надо так!

Это говорит Ольга. Она испугана. Но, очевидно, увидав что-нибудь по моим глазам, она как-то смягчается, в глазах блестят слезинки.

Она гладит меня по волосам, целует в глаза так тихо, так нежно, что хочется закрыть их или заплакать.

— Не надо так, мой милый! Не надо так, мой хороший! Разве тебе без этого не хорошо со мной? — говорит она с дрожью нежности в голосе. — Разве не хорошо?

Я смотрю на нее и говорю тихонько:

— Я… люблю тебя.

* * *

— Скажи мне, — говорит Ольга, — мог бы ты любить человека, если б он не любил тебя, или нет: любил бы, но только недолго… одну только осень, а потом променял бы тебя на… самого обыкновенного человека, более удобного для него?

И она смотрит на меня так напряженно, как

будто этот вопрос почему-то особенно важен для нее и мучителен.

— Нет, — говорю я горячо. — Ни за что! Это оскорбительно.

Она с остановившейся грустной улыбкой смотрит на меня и говорит:

— Как ты счастлив, как ты счастлив, что так мало знаешь жизнь и горе и… свою душу. А я… — говорит она, как будто вдруг на что-то решившись, и глаза ее, расширившись, испуганно смотрят на меня. — А со мной это было!

У меня тоскливо сжимается что-то в груди и к горлу подкатывается тяжелый ком.

— И это давно было? Кто это был? — тревожно спрашиваю я.

— Кто?.. — быстро переспрашивает Ольга. — Ты спрашиваешь, *кто*?

Она держит мою руку и несколько времени как-то странно смотрит мне в глаза, как будто у нее сейчас, сейчас может сорваться одно какое-то слово и ошеломить меня.

Но это продолжается несколько секунд. Ольга сейчас же, как бы испугавшись, что далеко зашла, говорит поспешно:

— Это был один знакомый… Это уж прошло. Это было давно. Теперь этого совсем нет. Совсем

же нет! — говорит она, сжимая мою руку у своей груди с таким умоляющим выражением, как будто просит, чтобы я ей ради Бога поверил, что теперь нет.

— И теперь я люблю только тебя. Только *эти* глаза! — говорит она с каким-то напряжением нестерпимого страдания, глядя мне в глаза и сжимая свои маленькие руки. — И никого больше. Никого!.. О, Господи.

И она целует меня так долго, так напряженно, как будто уж не меня, а себя хочет убедить в чем-то.

— Смотри, ты не скажи своему брату, — говорит она, — что я тебя целовала! А то он истолкует это по-своему, т. е. совершенно не так, *как есть*.

Она идет. А я долго стою и смотрю вслед. Потом срываю несколько листьев с того места, где мы сидели, и прячу их в боковой кармашек, чтоб после вспомнить об этой осени.

* * *

Брат сидит в Машиной комнате и что-то говорит громко и раздраженно. Слышу я только последние слова, которые он говорит, топнув ногой.

— Нет, я вижу, что переменилась!

Маша стоит понурая, печальная и перебирает руками край черного фартука. Она бледная, печальная, совсем как монашенка.

Спать уж пора. Ночь-то совсем нависла над домиком.

Я выхожу на крыльцо послушать, как шумит осенний ветер, посмотреть, как темно на дворе и как холодна осенняя ночь.

Около столбика перил стоит какая-то женская фигура, как будто она ждала кого-то. И сейчас же подходит ко мне.

— Это ты, Маша? — говорю я удивленно. — Чего же ты мерзнешь здесь?

В это время слышен голос брата. Он зовет Машу. Она вздрагивает как-то странно.

— Господи, — говорит она, тяжело вздохнув, как будто в какой-то безысходной тоске и муке.

Огонь из комнаты брата идет по окнам, переходит в окно Машиной комнаты и останавливается там. Полоса света из окна ложится на куст сирени.

— Ступай, Маша, он зовет тебя зачем-то, — говорю я.

Она как-то жалко, виновато гладит мою руку, и я, привыкнув к темноте, вижу ее побледневшее милое лицо.

— Ну, что с тобой? — говорю я. — Ты сегодня какая-то странная… Брат опять зовет.

Она вдруг нервно стискивает мою руку, точно у нее едва хватает силы что-то сдержать в себе, и убегает.

Я ложусь спать. Покрывшись с головой одеялом, поджимаю под себя ноги и обхватываю их покрепче руками. Шепчу что-то в подушку, от счастья целую ее и вспоминаю все, все, что было: слова, бархатную кофточку, золотистые колечки волос около женской шеи и родинку около губ.

На сиреневом кусте долго стоит свет. И уж в полусне я слышу, как в комнате брата кто-то сердито хлопнул дверью.

Свет на сиреневом кусте погас.

IX

Сегодня я еду. Быть может, навсегда из этого уголка. В последний раз видел я Ольгу, бархатную кофточку и белый шарфик. Осень глубокая. Листья уж все облетели, и золотые, и багряные. И только кое-где оставшиеся, одинокие, печально шелестят при ветре.

Пустые аллеи все засорены ими. Теперь уж их не метут: холодно.

А скоро будут топить и печи.

* * *

Звенят бубенчики. Это лошади поданы… Мне. Уезжать…

Я собираю разные вещи, и в столе попадается мне записная книжка брата. Она прошлогодняя. И на чистой странице чьей-то женской рукой быстрым порывистым почерком написано:

«Осень, сентябрь 19…» — и только.

В окно я вижу березку и ту аллею, по которой я бродил один вечер и смотрел на окно Машиной комнатки. Я выхожу в сени, там стоит Маша. Глаза ее совсем заплаканы, а нос покраснел. Видно, она часто сморкалась, когда плакала о чем-то. И вся она такая жалкая в своем каком-то горе, что хочется расспросить ее обо всем и, чем можно, утешить.

Она хочет мне что-то сказать и никак не может выговорить.

— Не забы… Не забыва… — говорит она, силясь улыбнуться мне.

В доме слышны шаги брата. Маша быстро скрывается за дверью.

Вещи выносятся. Смотрю я на остающийся домик со столбиками на черном крыльце, с березой у окна, и становится мне грустно.

— А где же Маша? — тревожно и хмуро говорит брат.

Нет Маши. Вышла куда-нибудь.

Грустно мне потому, что вот теперь пойдут долгие вечера. Маша будет сидеть в своей комнате и шить. А ночи будут холодные. Морозы уже были.

Домик остается позади. Видна еще береза у окна Машиной комнаты. Небо ровно серое и неподвижно унылое. Пруд холодный, по-осеннему прозрачный, с тиной у берегов.

А на грязь дороги насорились пожелтевшие листья.

Сейчас от мостика будет видна усадьба и дом с колоннами. Виден будет парк за прудом и жердочки. В последний раз.

— Вон парк, вон купальня, — говорю я, приподнимаясь, — вон крыша зеленая.

И вижу: Маша на мостике стоит, покрытая большим платком. Ветер открыл его и треплет концы, а она не замечает этого и только смотрит на подъезжающий экипаж.

— Прощайте, — говорит она. — Прощайте…

— Прощай, Маша, прощай, — отвечаю я и думаю: зачем она сюда попала? Ходила куда-нибудь?

— А вон и жердочки, — говорю я себе, боясь пропустить. — Вон они, я и сейчас еще вижу. В последний раз.

Яхонтово
1914

Юрий Слезкин
(1885–1947)

Астры

Как увядающее мило.
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь так немощно и хило
В последний улыбнется раз.

Ф. Тютчев

C'etait un mal vulgaire et bien connu des hommes
Mais, lorsque nous avons quelque ennui dans le coeur,
Nous nous imagmons, pauvres fous que nous sommes,
Que personne avant nous n'a senti la douleur[4].

---

[4] Примечания: 4

Это была беда, хорошо знакомая людям,
Но, когда в наше сердце входит горе,
Нам, несчастным, кажется, что никто
Еще до нас не испытывал подобной боли (фр.).

А. де Мюссе

A de Musset[5]

I

Наташа и Глаша шли под руку по каштановой аллее, уже желтой и поредевшей.

Наташа — горбатая, с худым бледным лицом, опиралась длинной костлявой рукой на палку, а Глаша несла большой букет астр. Это была их обычная вечерняя прогулка. В конце аллеи, на лужку, возвышался за оградой мраморный крест. Здесь была похоронена их мать. Отец их, тоже умерший, лежал далеко отсюда — в городе, где был губернатором. Они остались одни — две сестры доживать свою скучную жизнь в родовом Замосье. Они решили жить в имении потому, что город их пугал, не привыкших к самостоятельности. Ни одна, ни другая не умели хозяйничать, управляющий их обкрадывал, мужики надували, но все-таки это было насиженное гнездо, и они любили его — должно быть, за те длинные тоскливые вечера, которые проводили здесь.

Они склонились над могилой и долго молча-

---

[5] Примечания: 5

Альфред де Мюссе (1810–1857) — французский поэт-романтик. Цикл поэм «Ночи» (1835–1837), любимый Наташей, проникнут меланхолией и скорбью. — *Прим. автора.*

ли. Наташа молилась, широко крестясь своей высохшей обезьяньей рукой; Глаша глубоко задумалась. Она была гораздо моложе сестры, красивее ее; ей шел тридцать пятый год. От долгого девичества она несколько высохла, но еще не отвыкла мечтать, и с каждым годом, ведущим ее к старости, — мечты эти становились неопределеннее, но острее.

Каждый год, чаще всего весною, ею овладевал болезненный мистицизм, она точно вспоминала о всех своих прегрешениях и торопилась каяться. Тогда зажигались лампады, читалось Евангелие, надевалось черное платье. Потом неожиданно в один из солнечных дней она вдруг чувствовала себя совершенно холодной к религии; она уходила в лес, долго бродила там и приходила домой хмельная, взволнованная, дикая. Ее серые, всегда грустные глаза загорались, вся она выпрямлялась, а голос ломался на высоких нотах, когда она пела. А пела она очень хорошо.

Сегодня она тоже не могла молиться. Она смотрела перед собою на астры, на мраморный крест. Не все ли равно…

Наташа наконец встала, и они вернулись обратно. Старшая сестра любила читать и размышлять. Она уже давно решила, что для нее не существует

личной жизни, что она уродлива и не настолько глупа, чтобы тешить себя невозможным.

Это она вела счета и говорила с управляющим, который ее надувал.

Она любила ходить на могилу матери, и хотя молилась без экстаза, но молитва ее успокаивала, поддерживала в ней ее ровное настроение, убеждала в ее справедливой уверенности о тщете земного.

— Oui, nous avons vecu et nous revivrons, — говорила она сестре, стараясь идти с нею в ногу. — La mort nest pas une porte qui se ferme, cest une portequi souvre[6].

Глаша не возражала — ей было все равно. Она привыкла к французским сентенциям сестры. Наташа имела тайную склонность к литературе, она давно уже начала писать роман, который все никак не могла кончить.

Последнее время у нее ослабели глаза, кроме того, она страдала мигренями, и горб ее, это наказание свыше, исковеркавшее всю ее жизнь, давал теперь себя чувствовать. Она носила его за собою, как те нищенки по дорогам, у которых за спиною висит мешок — все их имущество. Она

---

[6] Примечания: 6

Да, мы это пережили и воскреснем... Смерть не затворяет дверь, она ее отворяет (*фр.*).

же носила с собою и день и ночь, многие годы, свое горе, севшее ей на плечи и теперь, когда у ней ослабели ноги, давившее ее своею тяжестью.

Сестры молча поднялись на ступеньки крыльца, уже заброшенного, с пунцовыми листьями винограда, с отсыревшим столом и стертыми скамейками. Они прошли темную залу, наполовину пустую и холодную. Там стояли чинно выровненные по стенам тяжелые красного дерева стулья, стоял рояль и висели потемневшие портреты. Здесь они редко сидели, все свое время проводя в другой комнате, рядом, — в маленькой клетке, обитой сиреневым кретоном, — теплой и уютной.

Иногда только, поздними вечерами, Глаша брала с собой свечу и шла в залу. Там она ставила свечу на крышку рояли и играла, забывая о холоде и о трепещущих по углам тенях, которые в другое время ее пугали.

Время от времени по паркету пробегала озадаченная мышь. Тогда Глаша подбирала под себя ноги и взвизгивала. Наташа, слушавшая ее из сиреневой клетки, тоже вскрикивала и потом говорила:

— Ах, Глашенька, как ты меня напугала! Видит Бог, я умру когда-нибудь от испуга…

Потом просила:

— Сыграй мне что-нибудь из Чайковского.

И Глаша играла из Чайковского, которого они обе любили и называли «наш Чайковский», потому что «все-таки это не парвеню какой-нибудь, в нем так много тонкости и благородства».

Если Глаше играть не хотелось, они обе усаживались в сиреневом будуаре у круглого столика с лампой под большим сиреневым абажуром, Наташа брала свое вышивание «Point lasse»[7] (это было такое же бесконечное вышивание, как и ее роман), а Глаша читала, всегда что-нибудь французское. Из русских авторов они признавали только Тургенева и Апухтина. Но самым любимым был все же француз — Альфред де Мюссе…

Задумавшись — Наташа над своим вязанием, Глаша над книгой — обе сестры смотрели на огонь лампы или прислушивались к визгу ветра за окном и скрипу полов в пустынных комнатах. Так было и сегодня, и так же после долгого молчания Наташа вздохнула и попросила:

— Глашенька, друг мой, если тебе не трудно, прочти мне «La nuit doctobre»[8]… помнишь, как

---

[7] Примечания: 7
Вышивание свободным стежком (*фр.*).

[8] Примечания: 8
Октябрьская ночь (*фр.*).

это там хорошо… — Горбунья закрыла глаза и вытянула вперед костлявые руки.

— Помнишь:

C'etait un mal vulgaire et bien connu des hommes

Mais, lorsque nous avons quelque ennui dans le coeur,

Nous nous imaginons, pauvres fous que nous sonrmes,

Que personne avant nous n'a senti la douleur.

Как это прекрасно и как верно… не правда ли?

Глаша не отвечала, потянувшись за книгой. Стихи ей нравились, но она не видела в них того утешения, той истины, которых искала в них сестра. В эти осенние вечера она, действительно, считала себя самой несчастной и не верила, что другие могли испытать то же. Ее неудачливость не казалась ей пошлой, она принадлежала ей одной, только одной ей, как каинова печать. Рядом с нею жила ее сестра, тоже старая дева, — но там это казалось понятным. Наташа никогда не была красивой, она всегда казалась старухой со своим горбом. Но она — Глашенька, любимица отца, хохотушка, стройная и хорошенькая, с живыми

серыми глазами и черными ширококрылыми бровями — как могла она превратиться в старую деву, с увядшим лицом и усталым пожелтевшим телом? Как, в какой день прошла мимо ее судьба и она не сумела воспользоваться ею? В этот вечер Глаше казалось, что она особенно остро чувствует свое несчастье.

Она поднялась со стула, не дочитав до конца поэму. Она искала, чем бы развлечь себя. Машинально стала перебирать длинные стебли астр, стоящие в высоком японском вазоне. Большие махровые белые и сиреневые цветы шуршали между ее пальцев, как осенние листья, подхваченные ветром, и так же, как они, пахли дождем и тленом. Она почувствовала, что слабеет, горло сдавила знакомая судорога, точно чья-то холодная рука, — нервная судорога, приходящая к ней почти каждую ночь, напоминающая о смерти, наполняющая всю душу ее леденящим ужасом.

Она глотнула воздух, как рыба, выброшенная на берег, и судорожно уцепилась руками за вазу.

Откуда-то издалека, из тьмы ночного сада донесся шум колес и звон бубенцов. Потом на другом конце дома поднялась суматоха, захлопали двери.

— Это, должно быть, Иван Ардалионович, —

спокойно сказала Наташа, не отрываясь от работы. — Надо будет с чаем распорядиться, Глашенька.

Глаша молчала, медленно приходя в себя. Она силилась улыбнуться, представив себе Ивана Ардалионовича — когда-то влюбленного в нее, смешного, милого немврода, плакавшего у ее ног и просящего у нее за что-то прощения: ей казалось, что она слышит даже его всегдашнее восклицание: «Да разрази меня Бог»... Но похолодевшие губы ее не улыбались. Ей стоило большого усилия отойти от цветов. Стиснув губы и прижав пальцы к оледеневшим вискам, она вышла из комнаты.

II

Это не был Иван Ардалионович, милый простоватый земский начальник, вечно крикливый, пахнущий псиной и болотом, когда-то в юности обожавший так неудачно Глашеньку, только что окончившую институт. Это не был он, потому что уже из передней долетел бы его зычный голос и раскатистый смех, топот высоких охотничьих сапог. Чутких ушей Наташи коснулся шум сумато-хи, но совсем не такой, какой подымался при появлении Ивана Ардалионовича. Тогда, заин-

тересованная и немного испуганная, горбунья оставила свою вышивку и направилась к передней. Уже навстречу ей бежала девушка, босая и растрепанная.

— Кто там? — на ходу спросила барышня.

— Вас спрашивают — незнакомые. Извиняются, что заехали.

У Наташи запрыгали руки и открылся рот. Ей представилось Бог весть что, но она старалась все же себя успокоить.

— Хорошо, хорошо, — отрывисто кинула она. — Ступай, живо приоденься, смотри… да зажги лампы.

Кто-то выступал из полутемной, плохо освещенной передней. Медленно звякнули шпоры. У Наташи отошло от сердца. Она сощурилась, всматриваясь.

— Ради Бога, — заговорил нежданный гость, — ради Бога, извините меня, сударыня, за такое позднее посещение… Но обстоятельства иногда бывают сильнее нас…

Он склонился к ее протянутой костлявой руке, почтительно ее целуя.

Лицо Наташи пошло красными пятнами от смущения — ей еще никто не целовал руки, как девице. Он смотрел на нее в упор, с глазами, в

которых пробегала явная насмешка над ее уродством, — он только что не пожимал плечами. Но она не замечала этого, необычно робея перед молодым мужчиной и приглашая его следовать за собою.

— Прежде всего позвольте представиться, — говорил офицер, идя за нею и позванивая шпорами, — поручик артиллерии, Ираклий Георгиевич Орильяни. Гостил у сестры своей, должно быть, вам известной — княгини Кулишевой, — в сорока верстах отсюда. Ехал на станцию — грязь, слякоть, темно, попал в канаву какую-то и сломал рессору. Еле-еле дотащился до вас… Но надеюсь, что скоро коляску починят, и… Впрочем, гоните меня сейчас же, если я вас потревожил…

Он остановился и снова звякнул шпорами, оскаливая из-под черных холеных усиков ослепительно-белые зубы. Он говорил певучим самоуверенным голосом, слегка картавя. Его смуглое лицо южанина, с горбатым носом и черными влажными глазами, было красиво, почти цинично в сознании своей красоты.

Наташа смущалась все более.

— Что вы, что вы, — отвечала она, взволнованно хрустя своими длинными пальцами, — никогда. Мы не отпустим вас так. Мы обидимся, право. Вы

останетесь поужинать и…

Она хотела добавить «переночуете», но, вспомнив, что они одни здесь — две девушки, — сконфузилась и потупилась.

С чувством опытного мужчины гость понимал ее, догадывался обо всем и самодовольно посмеивался.

Потом, сидя уже с ним у себя в сиреневом будуаре, Наташа, в приливе откровенности, в неудержимом желании говорить, какое охватывает нас, когда мы долго остаемся одни или в обществе своих, особенно в деревне, рассказала ему, как давно они живут здесь — две бедные сестры; кто был их отец и как они жили раньше. Она рассказала ему о долгих зимних и осенних вечерах, проведенных здесь за рабочим столиком, она пожаловалась ему на грубость крестьян, нерадивость прислуги, бесчестность управляющего. Слова сыпались с ее губ, и ей казалось, что становится легче ее бедному сердцу от возможности высказаться перед этим посторонним человеком. Ей хотелось плакаться, ей хотелось возбудить к себе жалость в этом молодом красавце, живущем совсем другою жизнью. А он поглядывал на нее, склонив свой стан, затянутый в желтую австрийку, и улыбаясь в усики.

Наконец она замолкла, заметя входящую сестру.

Еще несколько бледная от недавнего нервного припадка, Глаша все же успела оправиться и, осведомленная о приезде незнакомого офицера, немного принарядилась. Ничего не переодев, она придала своему обычному костюму — белой вышитой кофточке и серой английской юбке — ту особую интимную кокетливость, какую женщины умеют придать своим вещам, раньше незаметным, когда хотят нравиться. Она взбила прическу, пригладила волосы, слегка попудрилась. Ее серые глаза стали больше — издали ее можно было принять за молоденькую девушку.

Офицер почтительно раскланялся. Она села напротив него на маленький пуф у вазы с астрами и, оторвав один цветок и нюхая его, задала ему несколько вопросов.

Он опять повторил свою историю с коляской, но уже более оживленно, с шутливыми замечаниями о своем кучере и русских путях сообщений.

Наташа, извинившись, ушла распорядиться с ужином, а они остались сидеть в полутемном уголку сиреневого будуара. Разговор принял веселый, насмешливый характер. Она заставляла его вспоминать своих знакомых, рассказывать

о Петербурге, о театрах. Он смеялся тихим, грудным смехом, картавил, блестел глазами, вставлял французские слова. Иногда замолкая, он смотрел на нее так, как привык смотреть на всех не очень старых, не очень уродливых женщин, — взглядом, говорившим слишком много или ничего не говорившим, но очень влажным, очень сладким.

Глаша вспыхивала, потуплялась. Сердце ее начинало тревожно биться. Ей делалось безотчетно весело, она становилась остроумной и бодрой.

Мало-помалу от нее уходила действительность — старое родное Замосье, с унылым желтеющим садом, уступало место в ее встревоженном воображении тому губернскому городу, где отец ее был губернатором; поскрипывающий под напором ветра ветхий барский дом принимал облик большого губернаторского дома, в залах которого так часто она танцевала и флиртировала молоденькой девушкой.

Новый знакомый ее ничуть не уступал тем другим ее знакомым, которых она уже давно потеряла. Она кокетничала, невинно кокетничала, сама не замечая этого, полная вновь нахлынувшими на нее ощущениями молодости.

Она показалась бы даже несколько забавной в своем оживлении, если бы за ним не чувствова-

лось столько искренности.

Чай они пили все трое в большой столовой, в которой давно уже сестры не сидели по вечерам. Радостно попыхивал большой серебряный самовар, аппетитно расставлены были всевозможные домашние закуски.

Офицер выпил, с разрешения дам, две рюмки коньяку. Он положительно не сводил глаз с Глаши.

Наташа, вся уйдя с горбом в свое кресло, улыбалась обтянутым ртом из-за чашек.

— Вы не можете себе представить, что это за низкий человек, — жаловалась она на управляющего, который был ее больным местом. — Он обсчитывает нас на всем. C'est un troubletete que cet homme[9].

— Так прогоните же его, — улыбался офицер.

— Прогнать его? — всплескивала руками горбунья. — Да что вы? Нет, слышишь, Глашенька, прогнать Писецкого. Да мы-то как же останемся? Ведь он у нас еще при покойном папа служил, мы привыкли к нему, а другой так и совсем нас сживет со свету…

— Полно же, Наташа, нельзя ли хоть сегодня

---

[9] Примечания: 9

Этот человек нечист на руку (*фр.*).

забыть об имении, о хозяйстве…

Узнав, что младшая играет и поет, офицер просил ее спеть. Она согласилась, не заставляя себя упрашивать. Решено было, что гость останется ночевать, потому что коляску нельзя было починить так скоро. Наташа решилась наконец на это. Времени оставалось много, так как никому еще не хотелось спать.

Они прошли в залу, где горничная зажгла бронзовые кенкеты по углам. Желтые огни свечей лизали холодный воздух нежилой комнаты и вытягивали по паркету узкие полосы света. В окна постукивали цепкие ветки дикого винограда, но ветер стих и из-за облаков выглянула луна.

Офицер сел недалеко от рояля, рядом с горбуньей.

Он посмеивался, покручивая ус, втайне довольный неожиданным приключением. Он готов уже был смеяться над пением Глаши, которое, ему казалось, должно было быть из рук вон плохо. Но, взяв за правило быть неизменно любезным с дамами, он решил все же аплодировать.

Ему пришлось раскаяться в своем поспешном суждении и аплодировать от чистого сердца.

Первый же романс привел его в восторг. Глаша пела точно, артистически. Ее сильный, дикий

голос как нельзя более подходил к цыганским романсам.

Офицер с удивлением смотрел на эту отцветшую девушку. Откуда она брала столько огня, столько страсти? Где и когда подслушала она эти необычные переломы голоса в словах признаний? Куда все это пряталось в обычное время и как ни один мужчина в дни ее молодости не заметил силы ее темперамента, не увлекся ею?

Она сидела, неподвижно вытянувшись на табурете перед роялью, и только глаза ее подернулись влагою, выдавая ее волнение. Она все дальше и глубже уходила в какой-то буйный водоворот, куда ее уносила чужая страсть. Она ничего не видала вокруг себя, не слыхала даже своего голоса. Это было какое-то очарование, колдовство.

Потом она не выдержала. Ее уже не надо было просить. Она сама умолила сестру сыграть какой-то цыганский танец.

Наташа усмехнулась. Маленькие зрачки горбуньи блестели. Она заиграла что-то бешеное и дикое. Глаша пустилась в пляс.

Ей не было уже тридцати пяти лет, она была моложе всякой молодой, обольстительнее всякой красавицы.

Офицер впился в нее глазами. Раскинув руки,

выставив грудь вперед и как-то подрагивая ею, она плавно двигалась с пьяными, слепыми глазами. Бедра округлялись под колыхающейся юбкой, а белые астры, которые она воткнула в корсаж, странно и таинственно кивали головками, маня за собою. Потом она пронзительно вскрикнула, ударила в ладоши и закружилась на месте.

Тогда офицер чмокнул губами, вскочил с кресла и быстро, приседая и прищелкивая шпорами, пошел к ней, похотливо вытянув руки.

Но музыка оборвалась.

Подняв плечи, горбунья смотрела на танцующих остеклевшим взором.

— Это бесподобно, это восторг, — говорил задыхающийся гость.

Он взял Глашу за руки, сам не понимая, что ему нужно. Она не противилась, разнеженно глядя в его лицо. Тогда, чтобы нарушить чем-нибудь это неловкое молчание, офицер сказал:

— Какие у вас дивные астры, как они идут к вам…

Его замечание не показалось странным.

Глаша тряхнула головой, точно отгоняя последний хмель.

— Да, да, они прелестны, — подхватила она, — хотите, я вам дам одну?

И, не дожидаясь ответа, быстро прошла в сиреневый будуар. Она делала все не задумываясь, почти не сознавая. Она жила в несуществующем мире. Ей казалось, что она должна, непременно должна дать своему кавалеру цветок.

И, склонившись над японской вазой, она выбрала самую крупную астру; потом обернулась, хотела протянуть ее офицеру и почувствовала себя в его объятиях.

III

Трепещущая и растерянная Глаша кинулась к себе в комнату, а офицер, странно улыбаясь и позванивая шпорами, медленно вернулся в залу, где горбунья, призвав горничную и приказав ей проводить приезжего в приготовленное для него помещение, пожелала ему покойной ночи.

Притворив за собою двери и тщетно ища чего-то глазами вокруг себя, Глаша, наконец обессиленная, опустилась на кровать. Взволнованная кровь ударила ей в голову, и целый рой мыслей нелепых и фантастических темнил рассудок. Еще она чувствовала на себе жаркие поцелуи офицера и запах его нафабренных усов; еще сладко замирало сердце и подкашивались ноги, но все же все происшедшее не казалось ей явью, сводило ее с

ума своим неправдоподобием.

Ее удивляло, как она, чистая девушка, не чувствует в себе ни возмущения, ни негодования против насильника. Странно, ее совесть молчала. В ней молчало все кроме радости, какой-то пьянящей радости, причины которой она не знала и не старалась угадывать.

Она стала кусать себе руки, чтобы успокоиться, чтобы не разрыдаться. Она боялась этого внезапного приступа тоски, которая является всегда у нервных людей вслед за сильной радостью. Она хотела уберечь в себе сладкое ощущение блаженства, тем более острое, что никогда в жизни она его не испытывала. И, порывисто поднявшись с кровати, она накинула на себя платок и лунной залой, гулкой террасой прошла в сад.

Ненарушимая тишина обняла сад. Замерший ветер не тревожил спавших листьев. Луна своим белым безжизненным светом наполняла воздух холодом и скользящими тенями.

Глаша, прижав на груди платок, легко шла по каштановой аллее. Холод бодрил ее, но она все еще не решалась обсудить происшедшее с нею, она говорила себе: «Сейчас, вот только пройду немного и все выясню», — и шла дальше и ни о чем не думала.

— Я безумная, я безумная, — шептала она почти вслух и смеялась этим словам, таким новым, таким манящим.

Она ни на что не надеялась, не строила воздушных замков, даже не спрашивала себя, любит ли она. Она только в сотый и тысячный раз твердила себе, что то, что с нею произошло, — действительность, а не сон. Что целовали ее, ее, глупую, некрасивую Глашеньку. И этого было достаточно, чтобы сойти с ума, чтобы плакать от радости. И почему-то опять вспомнился ей Иван Ардалионович в высоких сапогах и охотничьей куртке, идущий следом за нею, давно, ах как давно, и робким голосом, заикаясь, говорящий ей о своем обожании. Он тогда не осмелился даже поцеловать ее руки, и теперь она улыбалась этому далекому воспоминанию, снисходительно улыбалась робкому Ивану Ардалионовичу, — она, которую только что сейчас поцеловал красивый мужчина, — слышишь ли, только что.

Быстрым молодым шагом прошла она по аллее, обогнула застывший пруд, полный тины и перегнивших листьев, и вышла снова на плато перед домом, где, хитро разбитые садовником, высились клумбы. Они уже почернели от помятых стеблей высохших цветов. Только одна из

них белела еще при луне звездами поздних астр.

Тогда, подойдя к ней, обезумевшая, пьяная от восторга, полная еще ощущением горячих поцелуев и овеянная сыростью и острым холодом осенней ночи, Глаша упала на колени и привлекла к себе съежившиеся венчики цветов.

Она целовала эти поздние печальные цветы бурными, страстными поцелуями, поцелуями, которыми никогда никого еще не целовала, которые кипели в ней столько лет, редко говоря о себе, в ее пении; поцелуями девственницы, просящей греха.

Потом пьяная, с мокрым платьем и волосами, она поднялась и пошла к дому.

Звякнули стеклянные двери, скрипнул паркет.

Глаша сделала несколько шагов по зале и остановилась.

В дальнем конце залы, там, где была комната, отведенная приезжему, скрипнула дверь, блеснул огонь, кто-то чиркнул спичкой.

Глаша замерла, хватаясь за сердце, готовая упасть. Неужели же… Нет… нет… Счастье, радость…

Но вот раздались робкие шаги; кто-то шел к ней, потом шарахнулся в сторону.

Глаша чуть слышно вскрикнула от неожидан-

ности. Протянула вперед руки, в ужасе раскрыла глаза.

На вскрик ее снова приоткрылась дверь из освещенной комнаты; у порога показался полураздетый гость. Он всматривался в темноту.

— Что там такое? ты споткнулась? — спросил он.

Ему не ответили. Две тени неслышно скрылись. Они остановились в коридоре, потому что другого пути не было.

— Это ты, Маня? — ледяным голосом спросила Глаша. — Ты была там?

Пристыженная, горничная молчала.

Барышня прошла к себе и заперлась на ключ. Она сняла с себя платок, потом медленно начала раздеваться. Лицо оставалось каменным, таким, какое оно стало, когда она говорила с горничной. Губы были плотно сжаты, щеки впали, на висках натянулись жилы.

Потом она подошла к туалетному столу, как делала это всегда, каждый вечер, в продолжение всей своей сознательной девической жизни.

Вынула одни за другими из волос своих гребни, отводя глаза от зеркала.

Волосы, еще густые, упали ей на плечи; она взялась было за них, чтобы заплести косички,

но внезапно почувствовала, что не может ничего делать, ни шевелиться, ни думать. Гладкая поверхность зеркала отразила ее искаженные черты. Углы губ опустились вниз; серые печальные глаза налились слезами.

Она не отрывалась от своего отражения. Она, как безумная, неподвижно смотрела на себя. Руки ее судорожно сжатыми пальцами продолжали цепляться за волосы. Она смотрела на себя, как смотрят в лицо любимого покойника.

Сквозь слезы она видала до последней черточки, до малейшего пятнышка все следы неумолимого времени.

Как забыла она, что для нее все кончено, как смела радоваться чему-то, как решилась чувствовать себя помолодевшей?

Да, да, для нее все кончено, навсегда и безвозвратно. Неужели она этого не знала?

Она не сумела жить, когда нужно жить, она захотела жить, когда пора умирать. Ах, глупый, глупый Иван Ардалионович. Глупый, глупый… Надо было тогда поцеловать его, даже его — смешного и некрасивого…

Она смотрела на себя все так же пристально, но уже ничего не видела перед собою. Слезы капали из ее глаз, и она не думала стирать их.

— Старая дева, — впервые вслух и без страха произнесла Глаша, — старая дева…

И вдруг стыд, страшный стыд за давешнее кокетство, за пение, за разговоры охватил ее. Она взглянула на себя впервые со стороны, и ее затряс смех, бешеный хохот над собою. Она смеялась, упав головой на подушки, и рвала зубами эти подушки, потому что смех душил ее. Потом мгновенно пронеслось воспоминание о поцелуях офицера. Она чувствовала их огонь, их страсть. Смех перешел в рыдание.

Она встала, ходила из угла в угол, прижимая руки к груди, качала головою и стонала. Как умирающий зверь, искала, куда бы уйти от самой себя, куда бы спрятаться.

Разбуженная ее криками, перепуганная Наташа прибежала к ее дверям, стучала и молила впустить.

Тогда, точно испугавшись чего-то, боясь, что вот-вот сломают двери и войдут к ней, увидят ее позор, Глаша, обезумев, кинулась к окну, но силы изменили ей, и она упала на пол. Глубокий обморок сковал ее измученное тело. Она лежала неподвижно, с замершей улыбкой на посиневших губах.

Стук, шум, все ее отчаяние уходили куда-то, далеко уплывали от нее. Она уже ничего не сознавала, ничего не боялась, ничего не желала.

1912

Виктор Гофман
(1884–1911)

Желтые листья

Тихо и жестко шуршат под ногами осенние желтые листья. Широкая аллея сплошь засыпана ими, а здесь — на боковых скатах у дождевых канавок — они слетелись в рыхлые, шелестящие, подвижные кучи. А дальше, в почерневшей траве между обнажившимися стволами деревьев — желтые, золотые, багряные — они рассыпаны везде. Точно пышный ковер разостлался по парку, точно приготовлен земле золотом и пурпуром вышитый погребальный покров.

Их было двое, идущих по аллее. Как-то не ладилась их беседа, и оба чувствовали это. Обращаясь друг к другу, они смотрели в сторону и говорили отрывисто. Немного неловко было после вчерашнего откровенного разговора, обнажившего слишком многое в жизни одного из них. Уныло шелестел над ними облетающий парк. Иногда с разгульным свистом догонял их несущийся по дорогам ветер; тогда с жестким шорохом взлетали с земли свернувшиеся листья, похожие на мертвых бабочек с засохшими и переломанными крыльями. На минуту открывалась крепкая, плотно утрамбованная дорога: виднелся песок,

поблескивающий мелкими, прозрачно-белыми камешками, чисто вымытыми дождем. Но уже, дрожа и крутясь, падали новые желтые листья: падали — и казалось, скоро засыплют они собою все.

— Посмотри, — говорит Григорий, — ведь это клен. — Он нагнулся, чтобы поднять с дороги большой красно-бурый лист. — Или нет, орешник. Смерть все делает неузнаваемым.

И весною и летом знал он этот торжественный парк. Поэтому-то так грустно видеть его бессильное умирание. И если бы хоть не теперь, не в эти дни, когда и в собственной жизни такое разрушение. Он принялся смотреть вдаль. Вот сегодня стал виден отсюда пруд и даже скамейка на том берегу. Раньше все было закрыто зеленью.

Он показал своему спутнику пруд и скамейку.

Внезапно догнал их ветер, шумно ворвался между ними и унес их слова. Григорий что-то говорил, но из всего был слышен только его зов: «Андрей Петрович». Тот обернулся. Губы Григория еще поспешно и как-то странно шевелились.

Пошли дальше. Андрей Петрович только накануне приехал из города, ступал легко и бодро. Осенним свежим воздухом было хорошо дышать. Но уже невольно передавалась и ему

тревожность Григория. Послушно следовал он указаниям и жестам своего друга, сгибался над сухими, мертвыми листьями. А вверху, как и они, сгибались и приникали деревья.

Григорий опять остановился.

— Посмотри, — и он поднял с дорожки несколько листьев. — Разве это не смерть? Разве это не трупные пятна, эти расплывшиеся багровые круги?

Парк спускался к озеру. Деревья здесь стояли еще более обнаженными, жалко растопырив тонкие, словно заострившиеся ветки. Подмокшие листья в траве казались ржавыми и пахли прело. То и дело налетал рассвирепевший ветер, заставляя хвататься за шляпу: голые деревья тогда громко стонали, пригибаясь к земле. Унылое, беспощадное разрушение — и в парке, и там, в доме и жизни его владельца. Андрей Петрович невольно посмотрел на Григория. У него ушла жена. Словно вместе, сговорившись, удалились отсюда красное лето и красивая женщина с бледным лицом и задумчиво-тусклыми глазами.

Вышли к озеру, неприветливо перекатывающему мелкие волны, точно морщины неустанной заботы. У берега торчали почерневшие и обломанные камыши: дул холодный, пронзительный

ветер.

Григорий опять схватился за шляпу.

— Ну, что же, пойдем мы в лес, на ту сторону? — спросил он, поддерживая ее рукою. — Или слишком ветрено? А то бы мы могли кругом обойти весь пруд.

Андрей Петрович охотно согласился. Когда через некоторое время они загнули налево, стала видна дача Григория. Невольно вспомнилось, как угрюмо и неуютно там. Унылы опустевшие комнаты с наскоро переставленною и словно недостающею мебелью, с раскрытыми почему-то настежь шкапами. Опять вспомнилась бледная высокая женщина; четко вырисовалось на минуту ее красивое спокойное лицо. Где она теперь, виновница здешнего запустения?

Медленно обходили они пруд по едва видной тропинке, пролегшей через лужайку, насквозь промоченную дождем. Из-под ног выступала вода, затопляя примятую траву. Земля казалась нетвердой: вздрагивала и поддавалась под шагами с жалобным, всхлипывающим всплеском. Вдруг, словно возвращаясь к чему-то только что прерванному, заговорил Григорий:

— Ведь одним этим зачеркнута, уничтожена вся жизнь. Потому что она была для меня самой

жизнью: началом и концом всего. И теперь оказывается, все было ложью. Подумай, вся жизнь, каждый час, каждая минута.

Неприютно в лесу, в этом мокром, взъерошенном лесу, приютившемся над озером. А озеро все в бесчисленных, беспокойных морщинах словно лицо, искаженное ужасом и скорбью.

Побродив немного по мокрому, вязкому мху, засыпанному желтыми листьями и иглами, они уселись на прибрежную скамью. На середине ее еще держалась непросохшая дождевая вода. Стали смотреть на озеро.

Неожиданно Григорий чему-то улыбнулся. От улыбки жалко исказилось лицо. Щеки его покраснели от волненья.

— Представь себе, я иногда и до сих пор еще ничему не верю. Словно какие-то небылицы мне рассказывают. Так все это нелепо. И за что, главное, за что? Неужели же ничего не значит моя любовь, весь я, вся моя отданная ей жизнь?..

Что-то резко хряснуло сзади. Оба невольно обернулись. Громко треща и ломая на пути встречные суки, быстро летела вниз сухая сорвавшаяся ветка. Вот она глухо успокоилась на земле.

— Знаешь, я люблю ее до сих пор. — Григорий ближе придвинулся к своему другу. — Тоскую о

ней невыразимо. Так хотел бы иногда увидеть ее улыбку, потрогать ее руки. Можешь ли ты себе представить, какая это боль? Все прошедшее кажется тогда словно небывшим, как-то непонятным, не использованным до конца. В который раз могу я вспоминать каждую мелочь: как связывала она на ночь вокруг головы свои косы или какую-нибудь черточку около ее губ.

Андрей Петрович удивленно взглянул на Григория. Зачем он говорит все это? Что-то странное было в его неудержимой откровенности. Вот опять сделал он таинственное лицо.

— Ведь были все ласки, все, что зовется извращенностью, самое интимное, возможное лишь с одной.

— Ну, что же… Это все очень обыкновенно.

— Но если при этом был другой?..

Ветер становился сильнее. Вот опять пригнал он приплясывающий ворох сухих, затрепанных листьев. Стало холодно над озером. Андрей Петрович предложил отправиться обратно. Григорий безучастно согласился. Опять пошли по засыпанной сухими листьями аллее, по золотой парче их шуршащих трупов.

— Впрочем, я теперь все знаю. — Григорий произнес эти слова тихо и раздельно… Андрей

Петрович с удивлением обернулся к нему.

— Что такое ты знаешь? — не мог он не заинтересоваться.

— Знаю, как все это объяснить. Очень все это просто и грубо. Я думаю… она не была удовлетворена мною, понимаешь… как мужчиной. Вот в жертву чему принесена любовь.

Андрей Петрович был поражен. Это не приходило ему в голову. Что-то дикое и оскорбительное слышалось в этом предположении. И как не вязалось оно с ней, такой изящной, сдержанной и печальной. Неужели же так властно тело?

— Какие нелепости ты говоришь? — смущенно заметил он Григорию. И тотчас же осекся, потому что не тому ли лучше об этом знать. Но почему же не допустить, что Нина Алексеевна просто увлеклась другим, полюбила?..

Давно уже кончилась шуршащая, обнаженная аллея. Открылся сад с цветочными клумбами, разграбленными и изуродованными ветром. Тихо проходили они по дорожкам, на которых, несмотря на ежедневную очистку, лежали свернувшиеся листья и занесенные ветром чашечки флокуса и петуний. Белые, снежные стволы берез мелькали утомительно часто.

— Не пора ли домой? — заметил Андрей Петро-

вич. — Дождь начинается.

Григорий послушно повернулся. Он молча шел теперь, куда его направляли, изредка придерживая свою шляпу, хотя и не было ветра.

Поднялись на террасу, пустынную и сырую. Громко бились вверху трепещущие фестончики полотна: обеденный стол без скатерти казался забытым и ненужным. На взмокших, шершавых половицах не звучали шаги. Нечего делать на этой угрюмой террасе. Поставив в угол передней свой трости, они прошли несколько опустелых комнат и уселись, наконец, в маленькой гостиной. Пришлось зажечь лампу, потому что сумрак в комнате становился все более густым и тяжелым. Дождь усиливался и скоро полил как-то плашмя, падая сплошной, тяжелой, ревущей массой.

За ужином сидели молчаливо. Лишь время от времени Григорий вспоминал что-нибудь из своей только что разрушившейся жизни. Каждый мелкий эпизод казался теперь роковым и значительным. Мало-помалу, однако, он опять пустился в самую безудержную откровенность, с каким-то бесстыдством отчаяния рассказывая все. Андрей Петрович слушал с взволнованным интересом. Эта чужая, беспощадно вскрываемая

перед ним жизнь отзывалась в его душе глухим и мучительным угнетением.

В начале второго они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим спальням. Гостю была отведена одна из опустелых комнат, встретившая его печально и загадочно. Он подошел к окну. Ничего нельзя было разглядеть: за слепыми стеклами гудел неустанный дождь. Казалось, над миром стоит ровный, спокойно безнадежный стон, сопровождаемый тихими всплесками и всхлипываниями иссеченной дождями травы.

Спал Андрей Петрович беспокойно. В промежутки между частыми пробуждениями, когда слышался все тот же ровный гул дождя, ему снилась длинная, пронизанная ветрами аллея и мертвые листья, устлавшие всю даль ее. Они шевелились, шелестели, эти зловеще желтые и багровые листья, и все новые падали, падали бесконечно, вот как этот дождь за окном. Затем из-за голых стволов быстро выходила Нина Алексеевна и останавливалась перед ним. Болезненно искривлены ее губы и полузакрыты глаза. Что с нею? Она протягивает перед собою руки, словно ища помощи у него. «Неужели же так властно тело?» — глухо говорит кто-то из-за ветвей. Андрей

Петрович быстро оборачивается, но там нет никого. Потом опять падают листья, падают, крутясь и качаясь, сплетаясь в блестящий покров, расстилающийся над землею. Вот уже и его самого засыпают жесткие листья, он слышит их шорох, чувствует их щекочущее падение, их прелый, сырой и горький запах. Андрею Петровичу кажется, он лежит в разоренном парке и погребальный покров протянулся над ним. А вверху еще слышны шаги и кто-то говорит, отрывисто и глухо. Слов не разобрать, они умирают в листьях. Может быть, это Нина Алексеевна позвала его на помощь или Григорий в бессильном отчаянии жалуется кому-нибудь на свою поруганную любовь.

1911

Борис Зайцев
(1881–1972)
Из книги «Путники»

Осенний свет

I

Из своего большого имения, верст за пятнадцать, Ковалев приехал в усадьбу Лиски. Здесь жила раньше его мать. Но сгорел дом, матери пришлось перебраться к ним в Авдеево, где у Ковалева была красивая и самомнительная жена, грудные дети, запутанное хозяйство. Мать плохо уживалась с женой. И Ковалев торопился достроить ей дом, чтобы вновь всецело погрузилась она в кур, индюшек, гусаков — главную приманку ее жизни.

Был полдень сероватого сентябрьского дня, когда коляска его въезжала во двор. Он вылез у конторы — небольшой избы, с которой рядом висел колокол для рабочих. Курица спрыгнула с крыльца. Вышла, разумеется, баба.

Оглянувшись, он увидел знакомую картину елочек, амбар и за ними недостроенный кирпичный дом, с ямами для извести по бокам. В просвете вдали виднелся лужок, чуть затуманенный. Небо стояло над всем этим бледное, приятно-тихое. Ковалеву вдруг вспомнилось, что все было так

же и очень давно, при отце, когда они тут жили в большом низеньком доме, от которого теперь остался только рояль в сарае да старинные часы — их успела вытащить Авдотья Сергеевна. «В такой денек, — подумал Ковалев, — отец, наверно, собрался бы с гончими, трубил бы по соседним лесам и вернулся бы веселый, с парой зайцев».

Баба достала ему старосту — мрачного человека, не тратившего слов зря; Ковалев снял дорожное пальто, широко сидевшее на его полном теле, и тронулся за старостой на стройку. Староста шел в валенках, в руках у него была палка; из ушей росли седые космы, в морщинах на шее — многомесячная грязь.

— Что ж, — спросил Ковалев, — стропилы к Покрову поставим?

— Разве с этим народом управишься? Опять же и кирпича не хватит…

В это время они ходили по доскам, уже внутри дома; в выведенные окна кусками глядела даль, слегка сизеющая; снизу, у фундамента, густо выбивался чертополох; пахло сыростью и известкой; двое каменщиков выкладывали капитальную стену и при виде барина сняли шапки.

— Как же так не хватит? — спросил Ковалев с неудовольствием.

Но оказалось, что именно и не хватит, как раз так, как всегда не хватает. Растащили ли его, ошиблись ли в расчете сами, только правда надо было прикупить. Ковалев несколько даже рассердился — скучно, что история с этим домом все затягивается. Он стал было выговаривать старосте. Тот стоял перед ним равнодушно-почтительно, с таким видом, что все равно ничего не поделаешь. Ковалев только зря себя вывел из того задумчивого, несколько меланхоличного настроения, в каком сюда ехал. В конце концов махнул он рукой и сошел по доскам вниз; только сердце его сильнее билось; как нередко в последнее время, он слегка задыхался, когда шел к конторе.

— А то еще у Серебренниковой барыни кирпича можно разжиться, — сказал неожиданно староста, сзади. — У ней, сказывают, завод новый, кирпичный. Вот, заезжайте, поторгуйте.

— Это я и без тебя знаю, что завод… Ф-фу… — Ковалев задохнулся и остановился, — скажи Егору, чтоб корзинку мою взял из коляски, ну, позавтракать… Самовар мне поставьте, и все. Я тут в сад еще пройдусь.

Ковалеву хотелось быть одному. Опираясь на палку, не особенно легко шагая, он прошел мимо конюшен, где девки выгребали навоз, мимо избы

рабочих — там в стружках бродили ребятишки — и направился к старым липам, за которыми тянулся фруктовый сад. Здесь было уединенней. Золотисто-коричневатый лист лежал по дорожке, шуршал под ногой. Липы обнажились; их огромные, темные стволы стояли как бы стражами, важные, в два ряда. Местами клен ярко золотел. Яблони частью окопаны. И над всем — горьковатый, влажный и ранящий запах осени.

Ковалев остановился в этом месте, где в аллее липы делали полукруглый выступ; тут стоял ветхий столик, скамейка; он сел. Снял нехитрую, плюшевую шляпу и закурил. Отсюда видно было, как ходили в усадьбе, слышался шум веялки за елками, мелькали поденщины. Пронес корзину Егор. Корова забрела к стройке — ее отогнали. «Все то же, все то же, — думал Ковалев. — Двадцать, тысяча лет пройдет, так же будет опадать лист лип, так же будут веять и корова такая же побредет. Мы же все хлопочем, женимся, родим и занимаемся жизненными делами».

Тут он вспомнил, что староста, конечно, прав, кирпича, разумеется, придется тотчас купить, и, конечно, верно, что для этого надо съездить к «Серебренниковой барыне»... Вспомнив эти слова, так давно не слышанные, Ковалев чуть не

вздрогнул — может быть, и потому, что вообще в последнее время чувствовал себя неважно. «Неужели все это еще есть? Еще есть Нина Андреевна, ее усадьба, луга?» Все это показалось ему странным.

II

Давно, когда жили они здесь, в Лисках, Петя Ковалев был робким юношей, студентом университета; отец подтрунивал над ним и говорил, что вряд ли из него выйдет хозяин: Петя не любил этого дела. Но отец ослаб, заболел, и четыре года до его смерти, четыре мрачных деревенских года он провел в усадьбе хозяином — вернее, приказчиком отца. В те времена он бывал часто у Нины Андреевны Карстен, в замужестве Смеловой, — уже тогда вдовы, богатой «Серебренниковой барыни».

А теперь, катя в своей коляске по гулкой сентябрьской дороге, глядя на не убранные еще загоны картофеля с потемневшей ботвой, на рыжее жнивье и дивные зеленя, Ковалев не без волнения и любопытства старался себе представить, каково сейчас в Серебренникове, какая Нина Андреевна, как живет и как он ее встретит. Не видел он ее давно — с тех пор, как отец умер и

как сам сбежал он за границу — лет семнадцать.

Когда переезжали вброд речку, в версте от ее имения, Ковалев не удержался и сказал кучеру: «Правее, правее, тут глубоко» — и оказался прав, память не изменила: в те темные ночи, когда приходилось возвращаться через этот брод, он отлично знал, где надо «брать правее»… Дальше шли луга, очень пологие, вдали мельница, стога, село за речкой, а налево дорога медленно подымалась и, мимо полос жнивья, темно-зеленого льна и бурой гречихи, шла к Серебренникову. Понемногу шире и шире расстилался горизонт; завиднелся уже в туманящихся, слегка серебристых далях большак в уездный город, а прямо из-за подъема вырастала роща и риги Нины Андреевны.

Ковалев знал, что в усадьбе много перемен. Вдали виднелся кирпичный завод. Не весьма его удивило, когда вместо знакомых, широко неряшливых строений он увидел новый скотный под цинковой крышей, удивительный каменный подвал, похожий на мавзолей; за особенной загородкой свиней, среди которых ходила девица западного вида: Нина Андреевна все имение сдала латышу, и он ввел свой образцовый дух.

Когда по знакомому полукругу между сире-

нью подкатила коляска к подъезду, встретился мальчик в пальто и зеленой тирольской шляпе с пером; этот беленький мальчик имел также вид независимый, того рода, что называется у нас «мальчик в штанах». Он слегка подразнил хворостиной собаку в конуре и проследовал дальше.

Ковалев вылез у крыльца с клеенчатой дверью и небольшим навесом. Теперь все было подновлено: дом заново крыт в тон латышским постройкам, в окнах новые рамы, все помолодело какой-то прочной, деловитой молодостью. «Действует Нина Андреевна, все действует, — думал он, входя. — Не сдается».

— Барыня в саду, — сказала горничная в чистом фартучке, снимая с него пальто. — Вам придется обождать.

Через большую залу он прошел в гостиную и оттуда на балкон. Этот балкон был теперь обращен в веранду; вся она в цветах; на столе блестящий круглый самовар, недопитый чай, салфеточки, печенье, с обычным изяществом и как бы с небрежностью; в дальнем углу качалка.

Сколько раз сиживал Петя Ковалев на этой самой террасе, так же дожидаясь хозяйки, не зная, куда девать пухлые руки и большие ноги! Нынешний Ковалев вздохнул. В этом доме и на

этой террасе, откуда виден сбегающий вниз сад, луга за ним и далекие бугры зеленей, сжигалась и сгорела его юность: юность скудная и диковатая, но страстная.

Снизу, по дорожке, шла Нина Андреевна; в руке у нее было несколько роз, она одета в серый костюм, такая же высокая и статная. На террасу вошла бодрым, энергичным шагом; поднесла к лицу розы, провела ими по щеке и взглянула, улыбаясь, на Ковалева.

— Вот это кто! Забывший меня сосед. Ну, рада вас видеть.

Она протянула душистую, белую руку, всегда казавшуюся ему властной. Ковалев поцеловал ее.

— Все такая же, Нина Андреевна, — сказал он, — и время на вас не действует.

Она улыбнулась. И глядела на него все теми же голубоватыми, ясными глазами. Те же пепельные волосы, несколько полная и очень светлая шея; лишь вглядевшись, заметил он мелкие морщинки у глаз и коричневатые обводы.

— Каким же ветром вас все-таки занесло? Ведь вы знаете, сколько у меня не были? — Она на мгновенье приостановилась. — Да лет пятнадцать. Пятнадцать лет!

Ковалев подпер руками голову, гладил слегка бороду и смотрел теперь не на хозяйку, а вдаль, на осенние луга.

— Все такая же, — повторил он. — Я гляжу на вас и думаю: вы очень крепкая женщина, Нина Андреевна.

— Ну, а вы, — сказала она, — изменились. Не скрою. Как бы это назвать… да, вы тогда были робкий студент.

Ковалев засмеялся.

— А теперь — грузный барин… медведь, с плохим сердцем…

— Ах вы, русский человек! Все-то вы склонны к минору, к меланхолии.

— Да, а надо разумно и с достоинством вкушать от жизни? И затем спокойно уходить?

— Сейчас вы, наверно, вдадитесь в философию, — мягко сказала она. — Вы тогда были очень застенчивы и, простите меня, несколько нескладны. Но иногда прорывались в бурных тирадах.

— Теперь не прорвусь. Да, теперь… как смешно! Как смешно, зачем, собственно, я к вам приехал!

И тут, встав, медленно прохаживаясь по балкону, он ей рассказал, с легкой, но как бы и насмешливой улыбкой, что ему нужен кирпич, и сколько, и когда.

— Хорошо бы, — сказал он в заключение, — если бы мы с вами стали торговаться, спорить, выбивать друг у друга лишний десяток рублей.

Нина Андреевна согласилась, что это было бы очень смешно.

Она сидела теперь за тем же чайным столом, так же наливала спокойной, деловитой рукой чай сквозь ситечко, неторопливо двигала посуду, неторопливо вытирала, как привычный и очень уверенный в себе человек. Глядя на нее, можно было подумать, что свой жизненный путь, правда, проходит она легкими, белыми стопами, с той же простотой, как и держится, как моет чашки. «В ней есть шведская кровь, — подумал Ковалев, — и недаром она меня упрекнула русским моим происхождением».

Их разговор прервал человек в картузе, в плебейски-грубом коричневом пиджаке, крепкий, красный, с обветренным лицом: арендатор имения. Он тяжело пожал Ковалеву руку и заговорил с Ниной Андреевной о поросятах, о жмыхе на зиму для коров и разных хозяйственных делах. Ковалев догадался, что это отец того мальчика в зеленой шляпе с пером, которого он встретил у подъезда. У этого отца была щетинка на лбу, маленькие, хозяйственные глаза, очень быстрые;

весь он глубоко начинен своими сельскохозяйственными интересами и сыпал без умолку — о свиньях, о жмыхе, кормах. Ковалев уже знал эту прочную, жизненную породу. Где-то он видел четырехугольное лицо и большие ноги; слышал полурусский говор и уже знал все о свиньях. Ему стало скучно. Он спустился в сад. Он сказал Нине Андреевне, что не хочет мешать их разговору.

III

Ковалев медленно спускался по дорожке, мимо цветников. Здесь цвели астры, левкои, георгины. Несколько роз сияли темным огнем. Стало теплее; чуть проступало в небе перламутровое солнце. Где-то грачи кричали — тем дальним и бездомным криком, когда кажется, что это из бездны пустого неба зовет кто-то. Ковалев чувствовал себя так, будто ему немного нездоровилось: не то легкий озноб у него и жар, не то мозг чем-то опьянен — тонким и легким, на все вокруг бросающим свой отсвет. Он шел между цветов. Яблочный сад тянулся за ним, но казалось, что тут же рядом, среди этих же мест, идут прежние тени, былые люди, все, как бы отшедшее, но и живое. И он сам тут проходит — иным шагом, с иной душой, но все же он, студент Петя Ковалев; там, у пруда, внизу,

встретит свою даму, как всегда изящную, спокойную и ровную. С ней, наверно, уж кто-нибудь: сосед ли помещик с цыганским лицом, в высоких сапогах, или председатель управы, надушенный, с голубым платочком в кармане визитки. И она со всеми любезна, ровна и чуть-чуть радостна, и неизвестно, к кому же идет она — белыми, легкими стопами проходящая в жизни.

Около пруда он сел. Луга шли впереди со стогами кой-где; мельница невысоко подымалась над ним; там блестел кусок другого пруда, и за ним в легком осеннем тумане подымался по бугру осиновый лес. Там нередко катались верхом. Там, конечно, так же светло, приятно скакала она с другими, красивее, ловчее и богаче его; и так же ласково и просто разговаривала.

Ковалев закрыл глаза. Ему представился вечер, осенняя луна, дорога в лесу, среди густого осинника. Но осенью осины голы и как редки они кажутся! В туманной луне лист, покрывающий землю, — это чистое серебро; туманом затянуло овражек налево, здесь глухое, дикое место; Нина Андреевна называла ночную скачку по этой аллее — «бегством Карла Смелого после битвы при Нанси».

«Все это бред, — прошло в его мозгу. — Сладкий

бред». Он сидел спиной к дому и дорожке, шедшей оттуда. И обернулся на шелест шагов. Нина Андреевна спускалась сюда.

— Вот вы где! А меня немного задержал мой… латышский рыцарь.

Ковалев усмехнулся.

— Он вас покорил своим азартом.

Нина Андреевна внимательно на него посмотрела.

— Ах, ирония, ирония! Русские не любят ведь порядка, созидания, богатства.

— Между тем сам я сейчас — порядок. Вы посмотрите, я очень прилично управляю делами жены. Даже к вам приехал не зря.

Она покачала головой:

— Нет, вы все это не любите. Когда я на вас смотрю, мне даже кажется, что если бы не некая инертность, вы бы все бросили. Стали бы бездомным студентом.

Ковалев молчал. Было тепло, серебристо, смутно. Тонкий пар стелился над лугами. Снова из пустоты, далеко и безгранично, кричали грачи.

— Нина Андреевна, — сказал он, — помните вы наши прогулки верхом, в том лесу?

— Помню.

— Полурусская, полушведская женщина… Сей-

час в эту минуту, мне кажется, что, несмотря на все пережитое, всю горечь… в пустыне, где я живу… да, путаюсь. Безразлично. Все-таки все благословенно, что было! Пусть и останется благословенным…

Он взял ее руку и поцеловал.

— Та же белая рука, тот же запах.

Она сказала покойно:

— Я помню, как вы бывали здесь, как мы катались. Это было во время моей молодости.

Она несколько задумалась.

— Мне, конечно, нравилось, что вы меня любите. Это женская черта. Все же виноватой перед вами я себя не считаю. Нет, — она выпрямилась слегка, — я никому не лгала, никогда. Мне не от чего отрекаться.

Ковалев как бы взволновался.

— Вот именно, не отрекайтесь, да, да, будьте той же, безупречной, как я знал вас, той же, с прямым, открытым путем… Разве я говорю против? Укоряю?

— В моей жизни тоже были страдания, горечь и неудачи: но я считала, что на все надо смотреть просто и смело, я не люблю расслабленных. И случалось, что сердце мое было измучено, а я вы-

шивала в это время какой-нибудь tischläufer[10].

Ковалев смотрел на нее и слегка покачивал, как бы в подтверждение, головой. Да, и он знал ее такую. Такая же и сейчас сидит она перед ним, прямая, чистая и благоуханная, правильно живущая, правильно сломившая его юность, безгрешная и сохранившаяся. Сейчас они встанут. Очарование уйдет. И из мира волшебного вновь пойдет он по дорожкам сада, мимо яблонь, насаженных ее заботливой рукой, к вновь отделанному дому; там, на стеклянной террасе, будет разговаривать с любезной хозяйкой и смышленой помещицей — может быть, об урожае, коровах, кирпиче. И сама она — а ведь и она знала, что такое любовь! — тоже станет удобной для таких слов. И лишь изредка, возможно, остановится ее взор, на мгновение она уйдет в область сладких снов, своих видений.

IV

Было довольно поздно, когда Ковалев подъезжал к Лискам. Он сидел в коляске грузно, опираясь на палку. Сквозь туманные облака светила луна. В пустынном, светлом лесочке ехали

---

[10] Примечания: 10
Дорожка для стола (*нем.*).

шагом. Коляску сильно покачивало. Луна слабо ползла среди голых веток. Налетал ветер. Сова аукала.

Ковалеву не хотелось возвращаться домой, в изобильный свой улей, где ждало хозяйство, разговоры с женой, служащими, купцами, весь тот утомительный и безнадежный круговорот, в котором проходит столько жизней. И, подъехав к Лискам, он приказал лошадей распрячь, выдать им корму; себе же постелить в конторе. Грязноватая баба внесла ему через четверть часа грязноватый самовар. За маленьким столом, у убогого окошка русской избы, Ковалев молчаливо и одиноко пил чай с блюдечка, откусывая сахар по-мужицки. Руки его пахли духами «L'heure bleu»[11]. По скатерти пробежал таракан, на ходу пошевеливая усиками. Ковалев глядел на него спокойно и беззлобно. В этот час, он знал, Нина Андреевна ложится спать в своей роскошной спальне, в тонком белье, вымытая, элегантная, стараясь не поддаться старости, гигиенично читая немного перед сном. Вероятно, те розы, с которыми она взошла сегодня на балкон, в хрустальной вазочке стоят на ее туалете, отражаясь

---

[11] Примечания: 11
«Голубой час» (*фр.*).

в трех зеркалах. И она сама каждое утро, каждый вечер в этих зеркалах отражается — медленно проходящий в жизни призрак.

Баба не пришла больше за самоваром. Он кипел, жиденько тянул свою ноту и затих. Таракан убежал куда нужно. Ковалев устал сидеть в душной комнатенке, где висели хомуты и под ними портреты царей; он оделся, отворил дверь в темные сени и вышел. Все спали в усадьбе. Ни огонька, везде мертво. Луна взошла выше, и реял ее свет, все такой же таинственный, призрачный, ярче. Тем же путем, что и утром, мимо куртины елочек, Ковалев прошел к новой стройке. Собаки лаяли. Но он их не боялся. С собаками всегда был он дружен, и они его не трогали. Снова он взошел по всходням, медленно пересек гостиную, над которой небо простиралось, заглянул в комнату матери: в столовой из угла вылетела сова. По уже настланному накату он вышел на балкон. Здесь человеческие руки тоже возводили свое дело — перила, пол; что-то странное было в этой заботе об устройстве жизни. Сюда через несколько месяцев переберется его мать, чтобы, наверное, тут умереть, провлача несколько темных и бесцветных лет. Но зачем-то и она хочет этого устройства, и каменщики работают, и он, верный

сын, Петр Ковалев, ездит за кирпичом. Луна же катит над ними свой загадочный, туманный лик, не то насмешливый, не то грустный. Ей видна была и его жизнь, стоящего здесь человека. «Что же, — подумал он, — вот и мы, такие мы есть и так прожили свою жизнь. А как за нее ответим — это неведомо».

Там, внизу, пруд. За ним, на взгорье, пробовали насадить аллею лиственниц, но мальчишки с деревни повырывали посадки — так, из озорства. В том лесочке, сейчас голом, серебрящемся в луне, он бродил юношей, терзаясь любовью. Отдавало ли эхо лесное его томление? Кто сжег их? И что они были? Их унесли ветры жизни с той же беспечностью, как светотень играет по дорожкам. Фантасмагории, миражи! Они здесь же, в опаловой ночи, где все — правда и призрак, былое и настоящее, боль прежних ран и улыбка забвения — туманный круговорот человеческого бытия.

1918

Иван Бунин
(1870–1953)

Антоновские яблоки

I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный

обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские»

в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тро-

нет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски…

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки…

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад.

Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а

над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет…

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле, дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд… ближе, ближе, все громче и сердитее… И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю…

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли…

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-си-

нюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился… Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам

на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да, — вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Пет-

ровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. «О добре своем небось», — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сивожелезного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопля-

ники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок

верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обедняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной

или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне

их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу… И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах… Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий… Окна в сад

подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой.

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни… Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и

волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь… сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь…

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют

закустившимися озимями… Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он

шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голо-

сом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет… Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань

и визг собак… Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому…

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда

ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей,

толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами… Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»… И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»… Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум…» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам… Кукушка выскакивает из

часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска…

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты… Мечты… Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины… А вот журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою… Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза…

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч… Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства!.. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам… Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве,

сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни… Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе… Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи под-

девку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво дотягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги… Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою… Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди при-

вода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле… Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается

«работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…

На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял, —

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал…

1900

Эпитафия

За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах, при начале уходившего к горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий, серый голубец, — крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона божией матери.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой, призвал попа и освятил «Покров пресвятыя богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под его кровельку, — одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и

благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

— Пресвятая богородица, защити нас покровом твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока наконец не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье… И народ называл их красиво и нежно — «пряжей богородицы».

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду,

туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым сугробам и со стоном проносится по равнине, заметая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама царица небесная, что охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот наконец крест начинал вырастать из оседающих серых снегов. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и дымились в сумрачные дни крыши изб… Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и,

растопленное, блистало под солнцем, дрожа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: по-весеннему темнели равнины, окаймленные бледно-синеватой далью. Выпускали шершавый скот из хлевов; обессилевшие за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины и дергали клювом шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к хорошим кормам, — скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь и пробуждал норный гром, господь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебам и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе зеленями, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза. Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступали

веселые сенокосы… Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие, гибкие ветви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и «молили кукушку» быть милостивой вещуньей; помню «игры солнца» под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой заступницей всех скорбящих, — в поле, под открытым небом…

Жизнь не стоит на месте, — старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучней, и береза уже не так густо зеленела весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда не ходит одна, то само небо,

казалось, стало гневаться на людей. Знойные и сухие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по дороге, солнце нещадно палило хлеба и травы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими пустыми колосьями, как сиротливо шелестит! Сухая пашня сквозит между ее стеблями, видны среди них сухие васильки… И дикая серебристая лебеда, предвестница запустения и голода, заступает место тучных хлебов у старой проселочной дороги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке — равнодушная, печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик богоматери. Проходили годы, — она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь. Они продавали свой скудный скарб, забивали досками окна изб, запрягали лошадей и навсегда уходили из деревни на поиски нового счастья. И деревня опустела.

— Ни души! — сказал ветер, облетев всю де-

ревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она уже знала, что выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издалека принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после битвы или чумы. И голубец уже покосился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете…

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землею, потому что ищут

они источников нового счастья, — ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего…

Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь — серый, упавший на землю крест будет забыт всеми… Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?

1900

Последнее свидание

I

Влунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь.

Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой

назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки — темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

— Андрюша, ты куда?

— Я не маленький, мамаша, — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

— Ты куда, Андрей? — хрипло спросил он. — Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

— Кого ты можешь уважать? — ответил Стрешнев. — И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

— Виноват, виноват! — сказал Павел. — *На условное свиданье мчится юноша младой!*

Стрешнев, стиснув зубы, стал садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на заскрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

II

В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж — и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою… Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы… Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму

разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой изморози, радужно сияющей траве.

— А если она еще на день останется? — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну.

Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо… Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекосил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

— У, старая собака! — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, — так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она

не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнущие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин — последнее богатство.

— Ты до завтра? — быстрым шепотом спросила она. — Да? Я не верю своему счастью!

— Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев, освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая: «Боже мой, с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку — заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал пятнадцать лет тому назад, что отдам, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»

III

Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотясь на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

— Я для тебя всем пожертвовала, — тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

— Чем ты пожертвовала?

— Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью…

— Мы с тобой не бог весть как молоды.

— Какой ты грубый, нечуткий! — ласково сказала она.

— Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разно. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

— Пусть из меня ничего не вышло… Но музыку я любила и люблю страстно и хоть немногого, но добилась бы…

— Ах, не музыку. И как только Падарский…

— Грубо, Андрюша… А теперь я жалкая институтская таперша, и где же! В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви…

Стрешнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова:

— Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отрава для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще маль-

чишка, восторженный и нежный дуралей…

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

— Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей… Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей… Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

Любя тебя, мечтал я о мечтавших,
Любивших здесь сто лет тому назад —
И по ночам ходил в заглохший сад,
При свете звезд, их некогда видавших…

Он взглянул на Веру и заговорил резче:

— Зачем ты ушла — и за кем? — из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на ее черные сухие волосы.

— Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка… Приезжать к вам каждый день, видеть твое платье, тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков,

татарские сияющие глаза — не видящие меня глаза! — желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона — это было для меня…

— Она, а не я во всем виновата, — с трудом сказала Вера.

— Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленя, розовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона… Ах! — сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. — От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге — и плакал… Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с

постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синея. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

— А потом, конечно, роли переменились, — сказал он тихо, с отвращением. — Ну, да теперь все равно. Конец…

IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищеный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

— Митрий приехал.

— Подождет, — ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый

налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинуто назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндевевшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин задирал голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно

сказал:

— А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

— Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. — «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда…

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На репьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

Капри. 31 декабря 1912

Максим Горький
(1868–1936)

Однажды осенью

…Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение, в городе, куда я только что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека, — я очутился без гроша в кармане и без квартиры.

Продав в первые дни все то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушел из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо, — дело происходило в последних числах октября.

Шлепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым…

При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности и — можно безошибочно сказать — недурно обставленные внутри: это может возбудить у вас отрадные мысли об

архитектуре, о гигиене и еще о многом другом, мудром и высоком; вам встречаются удобно и тепло одетые люди, — они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ей-богу, душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого, — вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых!..

...Наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавчонках, бил в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга... Казалось, что река чувствовала близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, которые мог в эту же ночь набросить на нее северный ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видные глазом капельки дождя; печальную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней.

Опрокинутый челн с проломленным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие

и старые… Все кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слезы. Пустынно и мрачно было вокруг — казалось, все умирает, скоро останусь в живых я один, и меня тоже ждет холодная смерть.

А мне тогда было семнадцать лет — хорошая пора!

Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг, в тщетных поисках съестного, зайдя за один из ларей, — увидал за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокром от дождя и плотно приставшем к склоненным плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала.

Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей.

— Это зачем тебе? — спросил я, присаживаясь на корточки около нее.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, — я видел, что это девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены

с замечательной пропорциональностью — по одному, равной величины, под глазами и один — побольше — на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.

Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно гасла… Вот она отряхнула руки от песка, поправила ситцевый платок на голове, поежилась и сказала:

— Ты, чай, тоже есть хочешь?.. Ну-ка, рой, у меня руки устали. Там, — она кивнула головой на ларь, — наверно хлеб есть… Этот ларь торгует еще…

Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне…

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я должен признаться, — кажется, я был настолько углублен в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о всем прочем, кроме того, что могло оказаться в

этом ларе…

Вечерело. Тьма — сырая, мозглая, холодная — все более сгущалась вокруг нас.

Волны шумели как будто глуше, чем раньше, а дождь барабанил о доски ларя все звучнее и чаще… Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа…

— Есть у него пол или нет? — тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чем она говорит, и промолчал.

— Я говорю — есть пол у ларя? Коли есть, так мы напрасно ломаемся. Подроем яму, — а там, может, толстые доски еще… Как их отдерешь? Лучше замок сломать… замок-то плохонький…

Хорошие идеи редко посещают головы женщин; но, как вы видите, они все-таки посещают их… Я всегда ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться ими по мере возможности.

Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с кольцами… Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие ларя. Оттуда раздался ее одобрительный возглас:

— Молодец!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины,

будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил ее:

— Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия:

— Корзина с бутылками… Мешки пустые… Зонтик… Ведро железное.

Все это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут… Но вдруг она оживленно крикнула:

— Ага! вот он…

— Кто?

— Хлеб… Каравай… Только мокрый… Держи!

К ногам моим выкатился каравай и за ним она, моя доблестная соучастница.

Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал…

— Ну-ка, дай мне… Да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? — Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны… Было темно, мокро, шумно… — Вон там лодка опрокинута… айда-ка туда?

— Идем! — И мы пошли, обламывая на ходу

нашу добычу и набивая ею рты…

Дождь усиливался, река ревела, откуда-то доносился протяжный насмешливый свисток, — точно некто большой и никого не боящийся освистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев… Сердце болезненно ныло от этого свиста; тем не менее я жадно ел, в чем мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня.

— Как тебя зовут? — зачем-то спросил я ее.

— Наташа! — отвечала она, звучно чавкая.

Я посмотрел на нее — у меня больно сжалось сердце, я посмотрел во тьму впереди меня и — мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно…

…По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно — в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чем-то невыносимо скучном и тяжелом, надоевшем им до отвращения, о чем-то таком, от чего им хотелось бы убежать и о чем все-таки необходимо говорить. Шум дождя сливался с их плеском, и

над опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжелый вздох земли, обиженной и утомленной этими вечными сменами яркого и теплого лета — осенью холодной, туманной и сырой.

Ветер носился над пустынным берегом и вспененной рекой, носился и пел унылые песни…

Помещение под лодкой было лишено комфорта: в нем было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались мелкие, холодные капли дождя, врывались струи ветра… Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню, Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза, — на белом пятне ее лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась, эта неподвижность и молчание — я чувствовал — постепенно родит во мне страх перед моей соседкой…

Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать.

Она заговорила сама.

— Экая окаянная жизнь!.. — внятно, раздельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она.

Но это не была жалоба. В этих словах было

слишком много равнодушия для жалобы.

Просто человек подумал, как умел, подумал и пришел к известному выводу, который и высказал вслух и на который я не мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал. А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно.

— Хоть бы сдохнуть, что ли… — снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришел к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно — «сдохнуть».

Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления, и я чувствовал, что если буду молчать еще, то наверное заплачу… А это было бы стыдно пред женщиной, тем более, что вот — она не плакала. Я решил заговорить с ней.

— Кто это тебя избил? — спросил я, не придумав ничего умнее.

— Да все Пашка же… — ровно и громко ответила она.

— А он кто?

— Любовник… Булочник один…

— Часто он тебя бьет?..

— Как напьется, так и бьет…

И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она — «девица из гуляющих, которые…», а он — булочник с рыжими усами и очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в «заведение» и ей очень понравился, потому что человек он веселый и одевается чисто.

Поддевка в пятнадцать рублей и сапоги с «набором» у него… По этим причинам она в него влюбилась, и он стал ее «кредитным». А когда он стал ее «кредитным», то занялся тем, что отбирал у нее те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить ее, — это бы еще ничего, — а стал «путаться» с другими девицами на ее глазах…

— Али это мне не обидно? Я не хуже других прочих… Значит, это он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шефе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец! Жулик ты!» Он избил меня всю. И пинками, и за волосы — всячески… Это бы еще ничего! А вот порвал всю… это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Все порвал: и платье, и кофточку

— новенькая еще совсем… и платок сдернул с головы… Господи! Как мне теперь быть? — вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.

И ветер выл, становясь все крепче и холоднее. У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже ежилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз…

— Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас… плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые хари! Канючите, канючите, виляете хвостом, как подлые собаки, а поддастся вам дура, и готово дело! Сейчас вы ее и под ноги себе… Шематоны паршивые…

Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах ее не было силы: ни злобы, ни ненависти к «паршивым шематонам» не слышал я в них. Вообще тон ее речи был несоответственно содержанию спокоен и голос грустно беден нотами.

Но все это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых

точных и художественных описаний смерти.

Мне было скверно — наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами.

И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки, — одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:

— Ты что?

Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы, и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо…

— Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой! Сидит и молчит… как сыч! Да ты бы давно сказал мне, что холодно, мол… Ну… ложись на землю… протягивайся… и я лягу… вот! Теперь обнимай меня руками… крепче… Ну вот, и должно быть тебе тепло теперь… А потом — спинами друг к другу ляжем… Как-нибудь скоротаем ночь-то… Ты что, запил, что ли? С места прогнали?.. Ничего!..

Она меня утешала… Она меня ободряла…

Будь я трижды проклят! Сколько было иронии

надо мной в этом факте! Подумайте!

Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недосягаема была даже для авторов их, — я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.

Ах, я готов был подумать, что все это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне…

Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легоньким букетом водки… но — такое живительное… Выл и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Все это было вполне реально, и я уверен, никто не видал такого тяже-

лого и скверного сна, как эта действительность.

А Наташа все говорила о чем-то, говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него что-то растаяло в моем сердце.

Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипевшей на нем пред этой ночью… Наташа уже уговаривала меня:

— Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст, поправишься, опять на место поступишь… и все такое…

И все целовала меня. Много, без счета, горячо…

Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне.

— Ну, не реви же, чудак! Я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться… — как сквозь сон слышал я тихий убедительный шепот…

…До рассвета мы лежали в объятиях друг друга…

А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город… Потом дружески простились и более не встречались никогда, хотя я с полгода

разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел описанную мною ночь, однажды осенью…

Если она уже умерла — как это хорошо для нее! — в мире да почиет! А если жива — мир душе ее! Да не проснется в душе ее сознание падения… ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни…

1895

Виктор Астафьев
(1924–2001)

Осенью на вырубке

Омедведях, как о чертях, можно рассказывать бесконечно и занятно. Хотя бы, например, о том, как в одном детдоме ребятишки выкормили медвежонка, а когда он стал медведем, увели его в лес. Зверь же спустя время явился ночью в поселок и давай ломиться в помещение, похожее на детдом. Большая паника была. Милиционер, вызванный к месту происшествия, долго убивал медведя из пистолета, зверь горестно кричал, не понимая, за что и почему его убивают.

Или как объездчик Ахия — татарин, живший в устье уральской речки Вижай, поддался на уговоры городского охотника и пошел с ним на берлогу, но когда выжил шестом зверя с лежки и тот вылетел на свет божий, городской охотник, полагавший, что медведя в берлоге стреляют, как свинью во хлеву, бросил ружье и помчался вдаль. Ахия давай палить по предателю, но не попал в него, а вот под медведя угодил. Зверь так его устряпал, что остался у объездчика один глаз, рот, разорванный до уха, и все лицо, как у горевшего танкиста, в натеках и розовой кожице.

Но всех, кто пожелает послушать о берлогах, о

проказах косолапых на пасеках, об охоте на овсах, о случайных встречах с медведем грибников, малинников, пастухов, о медвежьих свадьбах, даже о том, как медведица спасла деревенское дитя и воспитала его в лесу, я отсылаю к охотничьему костру, там любитель подобных историй наслушается такого, перед чем даже иной фантаст спасует и может бросить писать, понявши, как приземлен взлет его и детски слабо вдохновение.

Я же, как и всякий бродячий охотник, когда-то должен был непременно встретиться с медведем и поведать о том. Таскаясь с ружьем лет с двенадцати, исходил я всякой тайги много: сибирской, заполярной, уральской, вологодской, а вот медведя воочию, тет-а-тет, как говорят французы, узрел всего единожды, потому и судите, сколь редок и осторожен этот зверь.

Случалось, конечно, видеть медвежьи следы, хаживал и я медвежьими тропами, рев слыхивал, как-то спугнул вроде бы с лежки косолапого, но все на таком расстоянии, что уверенности полной не было — медведь бежал или лось, а может, бродяга какой…

Вообще-то на зверя я почти не охотился. В детстве бывал раза два на маральих солонцах, и когда

при мне убили маралуху, стали ее свежевать, я разревелся и убоину есть не мог. Привыкшие думать, что на меня напущена порча, родственники перестали брать меня на охоту.

В войну довелось мне раза два ходить за козами по снегу. На фронте, случалось, стрелял кур, уток, и в «руках не дрогнул карабин», коли добивали на еду раненых горемык лошадей, брошенных в поле.

После войны мне никого не хотелось стрелять, но нужда заставляла, и — грешен, ох грешен! — много истребил я на Урале тетеревов, уток и в особенности рябчиков.

После окопов, смертей и военной толчеи тянуло от суеты, гама и рева побыть наедине с собою. Охота на рябчиков с манком — уединенная, тихая, иной раз за день километров тридцать-сорок сделаешь, да все по старым просекам, по заброшенным дорогам, по поймам речек, вдоль логов и ключей, красот всяких насмотришься, приключений тыщи изведаешь, надышишься, отойдешь душою…

И до того я сделался беспечен на охоте по птице, что пули вовсе перестал брать, если и были в патронташе один-два заряда с пулями, то лишь для блезиру, как говорят в народе.

Когда я приобрел избу в глухой деревне Быковке, что стоит в глуби мыса, образованного соединившимися реками Чусовой и Сылвой, то и совсем о каких-либо зверях забыл думать: леса здесь давно выпластаны, лишь у речек, в недоступных оврагах, растерянно ершились островки хвойников да на самом мысу, каменным плугом впахавшемся в водохранилище, обреченно шумела грива колхозного лесного надела.

По вырубкам взошли осинники, липа, березник, необозримое море розового кипрея, малины, всякой разной дудки, чертополохов, ягодников. Большое тут стадо дичи развелось, особенно тетеревов много гнездилось, и охота была хорошая, пока не обсыпали с самолета вырубки химическим порошком, борясь с энцефалитным клещом. Клещ как жил в лесном холме, так и живет по сию пору, зато птица вывелась почти подчистую. После одной зимы я шел закраиной колхозного леса, и ноги по щиколотку утопали в птичьем пере.

Встреча моя с медведем случилась в ту пору, когда дичи было еще густо, — веснами небосвод качался от свиста, звона, чулюканья и грая. Сидишь, бывало, на тетеревином току и до того заслушаешься, что даже и стрелять позабудешь.

В том году, как встретить мне медведя, малина продержалась до холодов: лето стояло погожее, но прохладное, зато уж осень выдалась любодорого — мягкая, легкая, солнцезарная. Всякая живность повылезала из кустов, из-под корней, из логов и крепей на открытые места.

Я встал рано поутру, отправился по заброшенной трассе высоковольтной линии, во многих местах уже перепоясанной зарослями кустов, стесненной плотно наступающими осинниками, березой, липами, клубящимися в ложках цевошником, щипицей и ивой. По трассе местами еще косили сено, и вот на отаве-то, зеленой, сочной, похожей на густые всходы озимых хлебов, сидели и поклевывали травку тетеревиные выводки.

Утром пал иней, трава похрустывала под ногами, звонко сыпались листья с осин, было светло и тихо, дышалось так глубоко, что пряный холодок слышно было не только в груди, но вроде бы и в животе.

Тетерева сидели плотно. Я скрал и щелкнул одного, потом другого и, сказав себе: «Будя!» — подался в свою избушку, набрав по пути приморoженных маслят.

Очень собой и всем довольный, пришел я домой, поел, забрался на русскую печь, чтобы, по-

спавши всласть, сесть за стол: славно работается в удачно начатый день.

Сколько я поспал, не знаю, как приехал из города один мой товарищ, заядлый охотник, и принялся искушать меня идти в лес, заверяя, что работа не Алитет, в горы не уйдет, да и вообще кому она нужна, моя работа? Книг вон сколько написано, а сделали они человечество лучше? Деньки же солнечные на исходе, скоро падера ударит, снег с дождем пойдет, вот тогда знай себе пиши…

Разве против таких доводов устоишь!

Через час мы топали по той же старой трассе, где косачи жировали утром на хрусткой от инея отаве. Но пригрело солнце, отволгла трава, и все было мокро, переливалось искрами из края в край. Яркие листы, запутавшиеся в бурьяне, тряпично обвисли. На закраинах трассы яснее выявилась и бездымными факелами горела красная рябина; отава зеленела прямо-таки празднично, местами желто светились живучая ястребинка и кульбаба да синел в жухлой полегшей траве скромный цикорий. Тетерева с открытых мест убрались в крепи, мы поманили рябчиков. Они охотно откликались, но из рябин не вылетали, там было хорошо, они звали нас к себе. Два спа-

ниеля — мой Спирька и Арс товарища, — один заполошней другого, вышарили в чащобнике вальдшнепа, затявкали, погнали. Мы открыли пальбу из четырех стволов, перепугали долгоносую пташку, собаки ударились искать ее, снова подняли живую, поперли дальше с гавканьем и шумом.

— А не попить ли нам чайку? — предложил мой соратник по охоте: он начинал варить чай, едва исчезало из виду жилье.

Почаевничали, полежали возле костерка, дальше подались, и поскольку я уже загубил две птичьих души, то отправил товарища с собаками старой заросшей просекой, где, по моим расчетам, и должны обретаться в дневную пору выводки, а сам выбрал себе легкий для хода кошеный волок с тем, чтобы коротко по нему пробежаться и, спустившись к речке Соколке, до отвала намолотиться смородины.

Надежды на успехи в охоте не было никакой. Несделанная работа томила меня, и как только я остался один, пошел по старой, клочковато заросшей вырубке, все, что намечалось к написанию, стало вертеться в голове. Но если я отключился от мира сего, уйдя в мир, пышно говоря, иллюзорный, это не значило, что я не видел ничего вокруг

и не слышал. Все я, конечно, видел, все слышал и даже ступал вкрадчиво — с носка на пятку по мягкой отаве, — но видел и слышал каким-то уже не главным зрением и слухом, а как бы лишь отражением от главного, второстепенным, что ли.

Зеленый, заросший по обочинам волок незаметно глазу начал клониться на спуск к речке Соколке. Малинник, ягоды на котором закисли и редкий лист оплесневел от паутины, нет-нет да и одаривал меня ягодкой-другой, запекшейся, к стерженьку прикипелой, но все еще пахучей. Осот — и здесь осот! — распушился, разъершился, его иней не бьет, его да крапиву только уж морозом обварит; пенья, выворотни, вершинник и сучья, насоренные лесорубами, год от года зарастали все плотнее, дремучей, но все же шибко поистязали землю гусеницами, колесами, тросами и всяким железом, содрали кожу с земли, заголили ее до обмылисто-серой глины, и трудно берутся добрые растения, особенно лес, на захламленных пустошах. Вот бывший верхний склад. На площадке его под обвалившимися эстакадами и вокруг преет ломь, бревна, обрезь, щепа, сутунки, бурьян кучно ершится, стеной тут стоят малинники — самое место для отсидки косача, да и глухарю соблазно. Я нащупал паль-

цем скобу ружья, шаги мои сами собой сделались еще осторожней: вылетит птица — пальну! Меж тем глаза все как есть отмечали впереди и по бокам волока, а в голове шевелились пестрые, случайные мысли: давно вот бабушке денег не отправлял; как-то домовничают в городе сын с дочерью? Подросли, воля им; приедем с женою — ждут не дождутся, когда уберемся обратно в деревню; в рассказе, который пишется, все же неблагозвучно начало, найти бы… да где вот найдешь-то? Кто потерял?.. На все вокруг глядел я приценивающимся взглядом, пытаясь сыскать и выловить слова, краски, звуки. Вон сколько люди черпали в природе всякого добра! Может, и мне чего осталось?

За Соколкой, за темными ее ольховыми изгибами, по-летнему ясное, закатывалось солнце. На стоге сена листья медно, нет, скорее, свинцово засветились. Березка, озаренная желтым листом и желтым светом вечернего солнца, стоит, как невеста. Фу-ты, так вот и лезут избитые выражения! Просто оказия с ними! В Быковке есть мельница, старая, заброшенная, уж я вокруг нее и так и этак ходил, чтоб словесное изображение ей подыскать, но в памяти вертелось одно и то же: «Вот мельница! Она уж развалилась; веселый

шум ее колес умолкнул…» Да, трудно жать на том поле, где пахали и страдовали классики. А надо! Раз взялся за такую работу. И еще надо как-то собраться написать фронтовому другу большое письмо — докатились до того, что поздравительными открытками к празднику отделываемся!.. Эх, куда идем, куда заворачиваем?!

Что, если ничего не придумывать? Так вот и начать рассказ — с зеленого, густо поросшего волока. Как шел я по нему, будто по мягкому ковру! Опять штамп! Ну, черт с ним, вычеркнем… Шел, значит, я по волоку, а впереди поникшие малинники, липки уже безлистые, ольха молоденькая, крепенькая, теряет зеленый, чуть приморожен-ный лист неохотно. За ольхой — трухлявый пень, красным листом земляники в раскореньях заросший, прелыми опятами облепленный. За пнем медведь стоит на задних лапах. Насторожился. На выворотень смахивает. Не замечал я прежде здесь никакого выворотня. Да разве все пни и выворотни на старых вырубках сочтешь — их тут море! Чего ж это он, медведь-то, стоит и стоит?! Если ты медведь, так шевелись, реви, делай чего-нибудь!..

Шли мыслишки, и я себе шел. Нет, меня несло расторможенно вперед, и, подойдя к нему вплот-

ную, я сделал еще два-три шага, как бы его не замечая, уверяя мысленно себя, что так не бывает и быть не может — больно уж все просто; все-таки это выворотень, и к нему как к выворотню и относиться надо. «Да это же медведь, дубина! Зверь! Настоящий!..» — вдруг прожег меня насквозь проснувшийся во мне страх.

И разом все откололось, опало куда-то: мысли, видения, предчувствие близкой стрельбы по тетеревам, березка, бабушка, фронтовой друг, и даже литература, и даже собственные дети. Остались я и медведь. Затвердело и как бы контурно означилось в груди мое сердце, реже и напряженней сделались его удары, пальцы прилепились к скобкам ружья. Брюшко большого уперлось в шершавую насечку предохранителя. От неведомых мне предков перешедшая наука зазвучала во мне — нельзя стоять к медведю спиной. Смотри ему в глаза, и чтоб лицо твое не было испуганным или угрожающим, не делай резких движений! И пусть хочется, очень хочется задать тягу, боже тебя упаси от такого соблазна!

Я медленно поворачивался к медведю, потому как прошел его, и, повернувшись, обнаружил, что отделяет нас всего шага три-четыре: даже маленького прыжка зверю достаточно, а в ство-

лах (я это сразу вспомнил и раскаянно осознал), в левом, моем любимом для стрельбы, так как я стрелял после фронта с левого плеча, — дробь-тройка. В правом, несподручном стволе, дробь того мельче — пятерка. Слышал я, если в упор стрелять — случается дробью снести зверю череп или выбить глаза…

Да мало ли что говорят и мало ли что на свете случается!.. Мало ли!..

Я смотрю зверю в глаза, не наводя на него стволов, — фронтовой опыт, инстинкт или опять же древняя человеческая память подсказывают: пустоглазые дыры ружейных стволов наводят ужас на все живое.

Зверь выгулялся, заматерел, шерсть на нем плотная, лоснится, и на загривок ровно бы хомут надет — такой он грозной силой налился. В хомуте узкорылая мордочка с черненьким и мокрым, как у моего спаниеля Спирьки, пятачком. На пятачке землица. Комочки. Рыжие. Лапы зверя по-детски невинно прижаты к груди, кисти лап отвисли безвольно, будто обессиленные руки. Оторопь, оцепенение сковали зверя и передались мне. Надо было что-то делать, стрелять уж, что ли, хоть вверх, для испуга, но я стою. Рыльце медведя чуть приподнятое, вытянутое, и вся мордочка

кажется глуповатой. В небольших желтовато-коричневых глазах удивление и виноватость, кажется медведь нашкодившим, провинившимся парнишкой, которого сейчас накажут…

Однако память быстро откатывается назад, схватывает тот момент, когда я увидел медведя, и означается напряженная, скрытая ольхой фигура зверя, его выжидательная стойка за пнем. Да он же кого-то скрадывал, караулил! Следы! Лосиха с теленком ходит по волоку к речке. Он ждал их, чтобы напасть на лосенка. А может?.. Что может-то? Дурья башка! Ну что? Думай худое, думай — так оно и сбудется…

Я смотрю на зверя, на все так же глупо и удивленно вытянутое его рыльце, все тот же детский пушок темнеет под храпом и в подмышках, и немигающие круглые глазки, так похожие на пуговичные глазки плюшевого мишки, какого дарят малым детям да игруньям-барышням, смотрят все с той же невинностью, и твержу себе: не может, не может…

Но земля не только на мокром пятачке медведя, она в когтях, остро и круто изогнутых. Там, где лапы вроде бы как для сердечного, извинительного поклона прижаты к груди, выше изгиба, под толстой и прямой шерстью угадываются крутые, как

у штангиста, мускулы, в забавных глазках внезапно отразился свет закатывающегося солнца и выявил угрюмую и темную, готовую в любой миг пробудиться звериную ярость. Я даже вроде бы чувствовал окременелую тяжесть и холодность этой ярости, способной высечь из себя искру, от которой воспламенится медвежье нутро, заклокочет лавой бешенство…

Хомут на загривке медведя, нелепый и страшный, давил меня все сильнее, огнетал ноги, тело, хотелось забиться, спрятаться куда-нибудь, сердце уже разнобойно и загнанно тыкалось в клетке груди, искало норку, норовило в нее спрятаться…

Не могут долго так стоять один против другого зверь и человек. Кто-то не выдержит. Кто? В голове отдельная, звонкая, круглой пулей катается мыслишка, нет, даже не мыслишка — истерика, вопль: «Вскинуть! Двинуть предохранитель! Ударить!..» Но тот собранный, рассудительный в минуту опасности фронтовик, который поселился во мне навсегда, не дает ей заполнить всю голову, ослепить ее не дает, он сдерживает меня, не веля шевелиться, бежать, стрелять, делать дурости, от которых больше всего и гибнет людей. Расходиться следует подобру-поздорову.

Вот что надо делать! Раздвигая резиновые губы, шевеля чужим ртом, я негромко, в меру властно произношу:

— Ну, уходи! — Узнаю свой голос и радуюсь тому, что в нем спокойствие и доверие.

Не медля ни секунды, ни мгновения, ровно бы он только и ждал позволения, зверь опал на четвереньки и неуловимо, непостижимо, как при таком малом движении, сделал незаметный поворот туловища и головы. Медленно, будто ощупью, с легким шелестом зверь пошел в глубь рыжеющих осенних вырубок, ни на мгновение, однако, не выпуская меня из своего бокового зрения: он так и не поверил мне до конца! Ход зверя все ускорялся, он перешел на рысцу, затем в бег и, наконец, в ныряющие прыжки. Медведь исчез так неслышно и быстро, словно и не было его, словно бы наваждение случилось или я придумал его. Исчез зверь. Растворился в гуще и хламе вырубок. Они впитали его, скрыли собою. И только легкий, почти мышиный шелест оставался в моих ушах…

Какое-то время я стоял на месте и ждал, не раздастся ли рев в чаще, и мне почему-то блазнилось — зверь непременно должен рявкнуть со злостью и досадой: хозяин тайги, он униженно отступил,

повернувшись толстым бабьим задом к человеку! Но, зная, как он, человек, коварен, зверь, быть может, ждал, как ударят по нему из ружья вдогон, и скорей всего уносил он в себе не мстительную злобу, а страх.

Ушел медведь. Исчез. Земля, кусты, бурьян и тайга, пусть даже расхристанная, болезненно оживающая, — его дом, и он распахнулся перед ним, укрыл зверя в глухом пространстве. Я выдохнул из себя спертый воздух и заметил на свежевскопанной земле вяло ползающих полосатых ос и белые раскошенные соты. Вот оно что! Косолапый-то трудился, добывал себе медку! В сотах земляных ос меду бывает чайная ложка, а вырыл целую траншею! Осы, конечно, кусали его, да такая уж сладкоежка этот косолапый, что и про опасность забыл! Недаром имя ему пришло от древнего — «ведающий мед», недаром! Я заставил себя улыбнуться, но никак не исчезала из глаз и памяти фигура зверя за кустом ольхи. Медок-то медведь успел съесть, осы подавлены, от сотов одни блестки… Значит, он все-таки кого-то ждал! Подкарауливал? Кого? Не стану клепать на зверя. Буду думать — не меня.

Я поволокся к Соколке. Из зарослей бывшего лесного склада с клохтаньем начали взлетать

тетерева. Но боязно сделалось стрелять, шуметь в вырубках, где существовал зверь и, теперь уже невидимый, пронзал из зарослей мою спину колким, мстительным взглядом. Спустившись к речке, я лег на живот и долго пил холодную воду, совершенно ее не чувствуя, лишь остужаясь изнутри. Потом я утер лицо подкладкой кепки — вся она была в поту. Посидел, тупо глядя на речку, и догадался — надо умыться. Медленно все во мне пробуждалось, движения были вялы, отвычны. Подумалось: а если бы пришлось стрелять? Отошел от брошенного лесозаготовителями старого бревна и ударил в гладкий ствол дуплетом. Не подходя еще к бревну, различил — дробь рассеяло… Может, выбил бы зверю глаза? Может, успел бы перезарядить ружье пулей?.. Да малы, очень малы глаза у медведя, а пуля в последней ячейке патронташа, почти за спиной. Патрон я тот года два не вытаскивал, гильза присохла к коже — попробуй в спешке отдерни! Ох-хотник!

Дуплет, сделанный мною, как-то разом все вокруг и во мне встряхнул. Все раны, все царапины во мне и на мне заныли. Я почувствовал неуютность, томление, тоску и даже горе, от которого хотелось заплакать. Не дождавшись товарища в условленном месте, я поволокся домой. Ни

мыслей, ни страха во мне уже не было. Усталость, одна только гнетущая усталость да сухость во рту. Шаг сделался вязкий, заплетающийся, возле каждого стожка меня неодолимо тянуло лечь, вытянуться.

С поймы Соколки-речки, с обочин покосов срывались косачи, фуркнул из-под ног, с ягодника, рябчик и сел на сухую ольху, весь видный и подурацки бесстрашный. Но я только поглядел на него и побрел дальше.

От речки, из глухих обрубленных логов и запустелохламных вырубок, где жил и скрывался зверь, наносило холодом и темью. Ночью будет большой иней — скоро зима. Я одрябло поежился и заставил себя прибавить шагу, зная, как дома сейчас натоплено, чисто, неодиноко, и заранее радовался всему, что в нем ждало меня, и мне подумалось: всем этим отныне я по-особенному стану дорожить и буду как можно реже отлучаться из дому.

1974